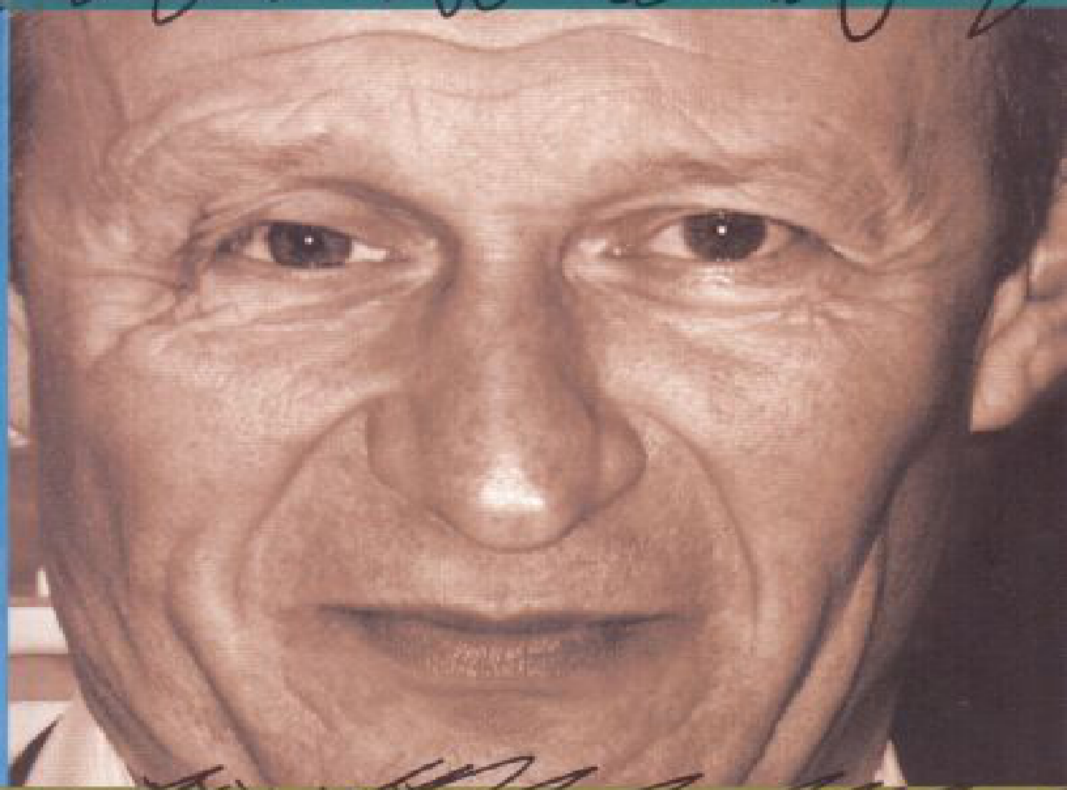
ИНСТАНЦИЯ ВКУСА

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ



БРОНЯ ИЗ ОБЛАКА

ЛИМБУС ПРЕСС

SHOUT
SHARE
IT
WAKE

Annotation

Наверное, это самая неожиданная книга писателя и публициста Александра Мелихова. Интеллигент по самому складу своей личности, Мелихов обрушивается на интеллигенцию и вульгарный либерализм, носителем которой она зачастую является, с ошеломительной критикой. Национальные отношения и самоубийства, имперское сознание и сознание национальное, культурные мифы и провокации глобализма — вот круг тем, по поводу которых автор высказывается остро, доказательно и глубоко. Возможно, эта книга — будущая основа целой социальной дисциплины, которая уже назрела и только ждет своего создателя.

В этой книге автор предстаёт во весь рост смелого и честного мыслителя, эрудированного и притом оригинального. В философию истории, философию психологии, философию науки, философию политики, в эстетику, педагогику и проч. он вносит беспрецедентно горькую ясность. Это произведение отмечено и мужеством, и глубиной.

Б. Бим-Бад, академик Российской Академии образования

Мелихов показывает, какую огромную роль играет в принятии роковых решений эстетическое чувство — фактор, который слишком часто упускают из виду власть имущие. От наркомании до терроризма простираются интересы автора.

Я. Гордин, писатель, историк

Александр Мелихов известен как один из наиболее глубоко и нетривиально думающих российских писателей. Его работу можно назвать титанической — по глубине мысли, степени эрудиции и дерзости талантливо затронутых тем (немалая часть из которых является табуированной в современной российской общественной и политической мысли).

В. Рубцов, академик Российской Академии образования

- Александр Мелихов
  - Предисловие автора
  - Почему мы себя убиваем,
  - Красота убивающая
  - Примиряющий и кощунственный
  - Убийство скепсиса
  - Конкуренция грез
  - Возрождение аристократии
  - Начинать с крыши
  - Ученых создают поэты
  - Ускользающая красота
  - Добродетель победителей
  - Назад к пилатчине?
  - Толерантность по расчету и толерантность по любви
  - Дом без хозяев
  - Жизнь или честь?
  - Слабость сильных
  - День стыда и бесстыдства
  - О, бурь заснувших не буди!..
  - Эхо Цхинвала
  - Особые пути из-под особых крыш

Александр Мелихов
Броня из облака

Пессимисты портят людям настроение —
оптимисты ввергают их в катастрофы.

Предисловие автора

Прошли восторги, и печали, и легковерные мечты… Но вот опять затрепетали пред мощной властью красоты. Я так и хотел назвать эту книгу — власть красоты. Но показалось слишком уж слащаво. Кто же поверит, что именно красота порождает дружбу и ненависть миллионов, что именно красота останавливает руку самоубийцы? Что именно красота направляет руку террориста? Ведь красота — это радость, а террор рождается ненавистью?

Да. А ненависть рождается страхом. Страхом что-то потерять. И чем выше мы ценим это «что-то», тем сильнее ненавидим источник угрозы. Но разве есть в мире что-то более важное, чем радость жизни, чем уверенность в собственной силе и ценности? Разве не о них мы все грезим в глубине души? А греза, обретшая отчетливость, воплотившаяся хотя бы в нашем воображении, — это и есть красота. Кого же нам и ненавидеть, как не врага, покушающегося на нашу красоту?

Именно потому, что каждый человек мечтает быть могучим и бессмертным, — именно поэтому человек существо высокое — тайно мечтающее о высоком, ибо ничто низкое не защищает от ужаса нашей мизерности и мимолетности в бесконечно могущественном и бесконечно равнодушном космосе. Потому-то под поверхностным кипением нескончаемой борьбы за баб и бабло, за министерские портфели, ресурсы и телевизионные часы, за самые удобные и почетные места на обреченном «Титанике» я различаю единый глубинный двигатель — стремление обрести *экзистенциальную защиту,* защиту от ужаса человеческой ничтожности перед лицом мирового хаоса, перед лицом несчастий, старости и смерти.

Обычно, отыскивая причины вражды, профессиональные конфликтологи вглядываются в столкновения выгод — они первыми бросаются в глаза. Примирить материальные интересы сравнительно легко — достаточно продемонстрировать конфликтующим явные преимущества компромисса: да, ты что-то потеряешь, но гораздо больше приобретешь. А вот тот, кто уступит в конфликте мифов и грез, в конфликте воодушевляющих образов своего прошлого и будущего, потеряет все. Если человек допустит рациональный анализ в мир утешительных и воодушевляющих фантазий, от них не останется ровно ничего, и он окажется нагим на космическом морозе.

К счастью, однако, искусство, от начала времен занимаясь сотворением наименее унизительного, наиболее красивого и вместе с тем психологически убедительного воображаемого мира,

изобрело великий жанр, в котором предстают красивыми *все* враждующие стороны, — я имею в виду трагедию. Народный эпос чаще изображает «своих» красавцами без страха и упрека, а чужаков полными уродами, за которыми нет ни крупицы красоты и правды, — в трагедии же каждая из враждующих сторон по-своему права и по-своему красива. Поэтому смягчить вражду способна лишь трагедия, не отнимающая красоты и правоты ни у одной из сторон конфликта, принимающая и понимающая каждого.

Следовательно: *формирование образа прошлого и образа будущего, в которых ни одна из сторон не чувствовала бы себя униженной, невозможно без участия художников слова, обладающих чувством трагического, умеющих чувствовать чужую правоту, восхищаться чужой красотой.* Конфликтологи и дипломаты должны брать уроки у Шекспира и Софокла.

Дипломаты, Шекспир, Софокл — уж больно это высоко парит над нашей повседневностью!

Хорошо, спустимся с небес в физиологию — туда, туда, смиренней, ниже. Вы замечали, что почти все сигналы нашего тела это сигналы боли — тут трет, там давит, здесь жжет, — это удовольствия нужно организовывать специально, а боль это праздник, который всегда с нами. Именно он подсказывает, что главная функция нашей психики — самооборона, формирование наименее унизительной картины мира, где мы предстаем красивыми и значительными, а в некотором смысле даже и бессмертными.

К мыслям этим меня развернула тоже самая суровая повседневность — клиника скорой помощи. И для чего нужна красота, мне открыли самоубийцы.

Когда я начинал работать с людьми, пытавшимися добровольно уйти из жизни, я заранее трепетал, с какими страшными трагедиями мне предстоит столкнуться. Но оказалось, что практически ни с кем из них не случилось ничего такого, чего не случалось бы с каждым из нас. Только мы преодолели этот соблазн, а они не преодолели, у нас сработала какая-то система защиты, а у них не сработала. И я стал размышлять, что же это за система, позволяющая нам преодолевать обиды и утраты.

Я не сразу заметил, что среди немалого числа страдальцев, с которыми мне пришлось иметь дело, не встретилось *ни одного,* кого бы привела к краю пропасти потеря имущества — сгорела дача, разбилась машина, — утрата убивала лишь в сочетании с унижением. На первых порах я пытался приуменьшать беды своих пациентов, но быстро понял, что требуется ровно обратное. Это о потерянном портфеле можно сказать: он был старый, немодный,

вам не к лицу. Но об умершем отце уже так не скажешь: он был старый, немодный, вам не к лицу…

И если у девушки погиб возлюбленный в горах, ей нужно говорить не то, что ты, мол, найдешь еще десять таких, но ровно противоположное: таких, как он, больше нет, он и погиб оттого, что был храбр и романтичен, никто в мире так не любил, как вы, если бы люди узнали о вашей любви, они бы стали слагать о ней легенды — ибо убивает не само несчастье, но ничтожность, некрасивость этого несчастья. А вот если перед нашим горем гнутся горы, не течет великая река, и древо с тугою к земле приклонилось, то нам уже легче. Если человеку удается создать красивую сказку о своей беде, перевести ее из жанра бытовой драмы в жанр трагедии, он наполовину спасен.

Именно это и делает культура. Она создает красивый образ мира и нас в нем и тем преодолевает экзистенциальный ужас, то есть совершенно обоснованное ощущение нашей мизерности в бесконечно огромном безжалостном мироздании. От этого ужаса нас спасает только фантазия, наша способность ставить воображаемое выше реального. В чем, собственно говоря, и заключается пресловутая духовность.

Обычно думают, что культура — это некое красивое облако, имеющее слабое отношение к нашей грешной земле, где правит злато и особенно булат. Однако на самом деле культура — это и защищающая нас броня, это и фундамент, на котором стоят государства, это и сокрытый двигатель науки и военного дела — но она же может оказаться и оружием, вдохновляющим террориста. Культура может порождать как всеобщую терпимость друг к другу, так и яростную вражду.

В этой книге я и пытаюсь поразмыслить, каким образом можно сохранить драгоценные плоды национальной культуры и предельно ослабить опасности, которые она, увы, тоже неизбежно несет.

Почему мы себя убиваем, или Почему мы еще живы?

Основной вопрос философии Альбер Камю формулирует так: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Однако лично передо мной этот вопрос во всей его грандиозной наготе еще лет сорок назад поставил Лев Толстой: в чем заключается смысл жизни, который не уничтожался бы смертью? Ради чего нам мучиться, когда жизнь перестает быть легкой и приятной? Да и может ли она быть приятной для человека, наделенного воображением, постоянно напоминающим ему, чем она закончится. Вцепившись в куст, человек висит над колодцем, на дне которого его поджидает разинувший пасть дракон; а между тем, две мыши, черная и белая, неустанно грызут стебель, на котором держится куст. И тогда… Тогда несчастный начинает торопливо слизывать сладкий сок, которым покрыты листья.

Вот наша жизнь: мышь черная, ночь, и мышь белая, день, безостановочно приближают нас к смерти, а мы тем временем спешим нализаться — кто чем. Кто удовольствиями, кто властью, кто почестями, а кто и вином, и в этом контексте они выглядят отнюдь не глупее прочих. А те, кто предпочитает по доброй воле разжать руки, начинают представляться всего лишь более мудрыми и храбрыми.

В советские годы смерть была просто вычеркнута из общественного сознания: шансы попасть в печать имел только тот, кто пал на поле брани, погиб в огне, спасая колхозный урожай, или получил смертельные ожоги, вытаскивая ребенка из рукотворного гейзера лопнувшей тепломагистрали. Остальные должны были обретать смысл жизни в строительстве коммунистического завтра, а если это занятие недостаточно их захватывало, то — сами виноваты — общество оставляло их один на один со смертью. Их — это практически всех нас. Советская пропаганда давным-давно утратила власть над сердцами — и вместе с тем не позволяла укрепиться ни одному альтернативному смыслообразующему институту. Хотя народ что-то для себя выискивал и в марксизме-ленинизме, — хорошим людям при всех режимах хочется жить не только ради собственной шкуры.

Я тоже пытался соорудить какой-то плотик из подворачивающихся под руку обломков великого

кораблекрушения. Единственное мировоззрение, которое я вынес из столичного университета, было научное: ничего не принимать без доказательств, все субъективные чувства и мнения перепроверять при помощи измерительных приборов. Сам великий Эйнштейн учил нас, что вопроса «Существует ли такое-то явление?» для физика нет, — есть только вопрос «Как это измерить?» Поэтому спрашивать «Какова ценность нашей жизни?» следует тоже у этой высшей инстанции — у барометров и вольтметров. Которые дружно отвечают: «Ноль, ноль, ноль, ноль, ноль». Я, конечно, знал, что разные религии как-то определяют место смерти в человеческом мире, но ведь уважающая себя наука несовместима ни с одной религией. Поскольку дело науки возбуждать сомнения, а дело религии их усыплять.

Верующие, правда, частенько говорят ученым: «Если даже мы не можем доказать, что Бог существует, то и вы не можете доказать, что он не существует. А потому мы вправе…» — «Нет, не вправе, — возражают ученые. — Если вы не можете доказать существование чего-то, вы просто не имеете права об этом высказываться». — «Кто же по-вашему создал мир, если не Бог?» — «А кто по-вашему создал Бога?» — «Бог существовал всегда». — «И мир существовал всегда. Вы всего лишь относите неизвестность к ничего не означающему слову».

И так до бесконечности. Сегодняшний образованный человек в глубине души уже сознает, что выбор любой модели мира — с объективным смыслом его существования или без оного, с Богом или без Бога, — в конечном счете совершает он сам. И если даже ему кажется, что он всего лишь доверяется какому-то методу или какой-то высшей инстанции, — все равно от него зависит, полагаться на них или не полагаться. То, что сегодня иногда именуют религиозным возрождением, чаще всего — психологическое иждивенчество: в религии охотно принимают ее утешительную сторону и очень редко замечают требовательную, — многие ли готовы раздать имущество или подставить ударившему другую щеку? А об устрашающей стороне, кажется, и вовсе забыли, заслуживши за это хотя бы кратковременную экскурсию в геенну огненную.

А вот как, например, мы решали бы вопрос о смысле жизни на месте, скажем, древних греков с их трагической религией, не подслащенной даже идеей воздаяния, — всем одна участь, и героям, и трусам, и праведным, и неправедным, человек — бессильная игрушка бессмысленного рока… Мир и в самом деле трагичен: все самые дорогие для нас ценности противоречат друг другу, — выбирая одну, мы неизбежно попираем остальные; успех зависит не от нас, — случай может разрушить самые хитроумно

изобретенные и настойчиво воплощаемые замыслы и увенчать удачей глупца и труса… Но трагические греки почему-то не выглядят несчастнее нас.

Чтобы набраться стойкости перед жизненными испытаниями, нам тоже необходима прививка трагического. Правда, новое время к двум главным компонентам трагического миросозерцания — неустранимая противоречивость и непредсказуемость мира — прибавило третью: нашу неустранимую ответственность, понимание того, что всякое воззрение на мир есть в конечном счете еще и продукт нашей собственной воли. Нам больше не на кого сослаться, мы сами назначаем, что считать добром и что злом, что красотой и что безобразием, что осмысленностью и что абсурдом. Поэтому мы должны научиться держаться ни на чем.

Но по силам ли это человеческим? Можно ли безоговорочно ценить то, чему ты сам же и назначил цену? Впервые серьезно задумавшись об этом молодым советским математиком, — то есть метафизически полным дикарем, — я чуть голову не сломал, пока додумался, что смысл жизни — не звезда и не химический элемент: его невозможно открыть в готовом виде, — его создаем мы сами, и другого судьи нет и быть не может. Измерительные приборы могут определить, сколько соли и перца содержит котлета, но вкусная она или нет, можем сказать только мы. Эти, простите за выражение, искания я включил в свою первую повесть «Весы для добра», и с изумлением узнал, что поиски смысла жизни есть прямая антисоветчина: жизненного абсурда, равно как и секса, у нас не существует.

Повесть удалось опубликовать лишь в высокую перестройку, но к тому времени я успел нарыть еще кое-что. Проблема смысла жизни и проблема самоубийства эквивалентны, оба эти вопроса — «Почему мы себя убиваем?» и «Почему мы себя не убиваем, что привязывает нас к жизни?» — отыскивают одну и ту же причину. Ибо инстинкт самосохранения, страх смерти не есть привязанность к жизни. Инстинкт самосохранения включается лишь в минуты реальной опасности, а потому самоубийцу он может остановить разве что в последний миг, — тогда как наличие жизненного смысла почти изгоняет даже фантазирования о самоуничтожении. Более того, каждому порядочному человеку хорошо известно, сколь часто мы оказываемся более стойкими в отстаивании чужих, а не собственных интересов: потерять свои деньги — чаще всего только неприятность, зато потерять чужие — серьезная драма, вполне способная поставить честного человека на грань самоубийства.

Это наблюдение наводит на общий закон: привязанность к себе делает нас слабыми и уязвимыми, а сильными нас может сделать лишь привязанность к чему-то внешнему. И убеждения прочными в нас бывают лишь те, которые мы получили извне, и лучше всего — по наследству. Мы начинаем сгибаться перед несчастьями не просто потому, что в нас ослабевает наша индивидуальная воля, а главным образом потому, что в нас слабеет «чужое» — коллективное, наследственное.

Мне когда-то с огромным трудом выдали в Публичной библиотеке классический трактат Эмиля Дюркгейма «Самоубийство», — такие вот были государственные тайны, почти сто лет открытые всему миру. Но итоговая формула Дюркгейма — рост самоубийств тесно связан с упадком сплоченности общества — показалась мне не совсем удачной: мне казалось, что вместо слов «упадок сплоченности» точнее употребить выражение «освобождение личности». Ибо у меня уже была художественная модель самоубийства, включенная в роман «Горбатые атланты»: на краю света рабочий поселок утопает в грязи, бедности, воровстве, пьянстве и прочих безобразиях. И некоему пророку удается преобразить этот уголок ада в уголок рая: на месте развалюх вырастают чистенькие домики, исчезает национальная вражда, воровство, в либеральных школах чистенькие дети пишут оригинальные сочинения, но — возникают самоубийства. Убийств-то и прежде было выше головы, но вот убивать себя не додумывался никто. И в конце концов покончил с собой любимый ученик пророка, — красивый, талантливый, способный сделаться ученым, общественным деятелем… Но — зачем? Чтобы служить людям? Служить тем, кто ничуть не выше его самого? «Но я ведь служу», — растерянно бормочет пророк, и слышит в ответ: «Я не верю, что вы служите этим заурядным людишкам, не стоящим вашего ногтя. Мне кажется, вы служите какому-то богу, которого скрыли от нас. А нам оставили только прописи: трудитесь, не ссорьтесь, уважайте каждое мнение и каждый обычай… Я же до такой степени выучился уважать чужое, что перестал уважать свое. Я завидую своему отцу, который точно знал, что хорошо и что плохо: стащить что-то на заводе значит быть умным, проломить кому-то башку значит быть храбрым, а я знаю, что все относительно: где-то стыдно грабить, а где-то стыдно трудиться, где-то красивы прямые носы, а где-то приплюснутые…»

И пророк с ужасом понимает, что дал людям комфорт, достаток, вежливость, но разбил стереотип их жизни: внес сомнения туда, где прежде все делалось автоматически. А человек силен и спокоен только тогда, когда остается автоматом, управляемым извне, когда по любому вопросу у него есть

единственно правильное мнение. А там, где допускаются два мнения, завтра их будет четыре, послезавтра восемь, — они начнут делиться, как раковые клетки… Всеобщее несогласие, то есть всеобщее одиночество, и неуверенность во всем — вот итог свободы и терпимости. Свобода — это рак, оригинально мыслящего человека должно истреблять неизмеримо более неукоснительно, чем скромного убийцу, не покушающегося на общепринятые мнения. Ибо ценность этих мнений только в их общепринятости и заключается. В том, что они ощущаются как святыни.

Я совершенно не склонен к мистике, — святыней я называю любую ценность, в которой мы не в силах усомниться, несмотря на самые убедительные доводы разума. Для кого-то святыней может быть наука, для кого-то нация, для кого-то чужая собственность, для кого-то чужая жизнь, но всегда — что-то внешнее, не лично нам принадлежащее. Устав держаться, мы чувствуем себя вправе разжать руки. Но когда держим над бездной тех, кого любим — и даже не очень любим, — этот миг так никогда и не настает: те, кого мы спасаем, на самом деле спасают нас. Возможно, мы боролись бы за жизнь вдесятеро более мужественно, если бы не считали свою жизнь нашим личным достоянием. Гуманистическая формула «Все должно служить человеку» в мучительных ситуациях обрекает нас на бессилие: человек не может ощущать святыней самого себя.

Как сохранить преданность собственным святыням и одновременно избежать кровопролитного столкновения святынь — сегодня это проблема проблем. Выход, по-видимому, в том, чтобы понять, что по большому счету все святыни не только соперничают, но и дополняют друг друга, служа какому-то более высокому целому. Что это за целое — тоже вопрос вопросов. Довольно очевидно, что и его нельзя открыть в готовом виде, а можно только создать — частью интеллектуальными, а частью (если не главным образом) — художественными усилиями: только они способны придать умственной конструкции чарующее обаяние. Для Дюркгейма целое — это «коллектив», общество. Но какое именно? Семья, профессиональная гильдия, нация, человечество? Дюркгейм как будто не замечал противоречивости требований, предъявляемых всеми этими коллективами. И служить, он считал, можно только обществу, ибо даже Бог есть всего лишь символический образ коллектива.

Но что значит «служить обществу»? Участвовать в системе разделения общественного труда, отвечал Дюркгейм. Но участвует ли в этой системе всеми осмеиваемый художник, стоимость картин которого век спустя будет равна бюджету

небольшого государства? Поэт, которым искренне восхищается лишь сотня-другая знатоков? Ученый, труды которого никогда не будут иметь практического приложения? Путешественник, который переносит невероятные тяготы и опасности, а часто и жертвует жизнью, чтобы добраться до какой-то точки земного шара, куда ничего не стоило бы долететь на вертолете, если бы только там кто-то что-то забыл? И более того — служит ли обществу поэт или художник, который так никогда и не находит признания? Не правильнее ли всего считать, что обществу служит всякий, кто увеличивает в нас восхищение миром — и прежде всего, восхищение человеком: да, такому существу стоит жить! И стоит служить продолжению его рода.

Это и есть ответ на вопрос, почему мы себя не убиваем, — потому что наша фантазия позволяет нам преображать страшное в красивое. То есть сходное с культурными образцами. Не имеющие таких образцов лишены и возможности ощутить красоту своего горя.

Но я шел к этому простому итогу через горы цифр и фактов. Сегодня даже интересно перечитать мои заметки конца 80-х.

Спасительная роль объединяющих святынь, мобилизующая роль красоты подтверждаются суицидологической практикой. Однако для трезвых умов такие высокопарности, как Дух, Культура, — в лучшем случае глазировка на булочке. А потому бывает особенно приятно, когда практические деятели признают жизненно важными невещественные ценности. На Четвертом перестроечном съезде народных депутатов СССР директор госплемсовхоза А. Долганов объявил, что в нашей стране ежегодно кончают с собой около шестидесяти тысяч человек — из-за тяжелого материального положения и поругания таких святынь, как Ильич и революция. Знал ли этот печальник, что за те десятилетия (1965–1985), когда подобные святыни царили над страной, число самоубийств удвоилось — с 39,5 до 81,5 тысячи? Зато с началом безбожного очернительства эта цифра упала ниже 60 тысяч.

А вообще, *не существует никакой связи между числом самоубийств и материальными условиями жизни людей* (бытие не определяет сознания). Но сообщите дилетанту, что чаще всего кончают с собой старики, — разумеется, кивнет он, старость не радость. Скажите, что молодые, — еще бы, у них порывы и незрелость. Скажите, что бедные, — разумеется, от лишений. Богатые — зажрались. Образованные — от большого ума, необразованные — от малого, пьющие — от водки, непьющие — от неумения расслабиться…

Вам не удастся сочинить такой нелепости, о которой он не

сказал бы: «Я так и знал». Но среди противоречивых, исключающих друг друга объяснений вы заметите одну закономерность: причины будут приводиться сугубо материальные — имущественные, медицинские, но никогда — духовные, связанные со взглядами людей, их нравами, вкусами, ценностями. Учение Маркса сделалось всесильным потому, что оно отвечало глубочайшей человеческой потребности — жажде простоты, жажде иметь элементарный и универсальный ответ на сложнейшие вопросы мироздания.

И, тем не менее, разгадка проблемы самоубийства кроется главным образом не в материальном быте людей, а в их мнениях, нравах, отношениях друг с другом: ни одна материальная закономерность не сохраняется при переходе к новому социуму или временному отрезку. Вопреки распространенному мнению, люди с возрастом кончают с собой все чаще и чаще (хотя максимум суицидальных попыток приходится на 16–24 года), однако в некоторых странах — в том числе и в СССР — выделяется относительный пик в возрасте «предварительных итогов» 45–54 года. Но в 20-е годы три четверти попыток и две трети завершенных самоубийств приходились на возраст до 30 лет. А в Израиле, Исландии, Новой Зеландии — что в них общего? — наблюдается снижение самоубийств в «стариковской» группе. Шри-Ланка же дает безумный пик в группе 15–24 года (мужчины 70, а женщины 55 ежегодных самоубийств на 100 тысяч человек).

Обычно в бедных странах в несколько раз меньше самоубийств. Но в Венгрии в социалистическую пору было 56 мужских и 25 женских ежегодных самоубийств на 100 тысяч соответствующего населения, а в куда более процветающей Швеции — 28 и 11. А в похожей на нее Норвегии — 17 и 6. А в похожей Финляндии — 41 и 10. Попробуйте разглядеть закономерность: ГДР — 46 и 28, ФРГ — 30 и 16, Австрия — 35 и 15, Дания — 30 и 17, ЧССР — 32 и 12, Япония — 22 и 14, Куба — 20 и 14, США — 19 и 7, Франция — 23 и 9, Болгария — 21 и 9, Канада — 18 и 7, Польша — 21 и 4, Австралия — 16 и 6. Как видите, самоубийств среди женщин меньше, но суицидальных попыток больше (данные не самые свежие, но суть верна).

В Англии более всего были склонны к самоубийству высшие классы, затем чернорабочие, на последнем же месте — квалифицированные рабочие. С другой стороны, в США уровень самоубийств среди белых еще недавно был в два раза выше, чем среди цветных. В начале 20 века было твердо установлено, что самоубийства — болезнь больших городов, но вот в Ленинграде в 1989 году произошло 844 самоубийства, а в Ленинградской

области — около 440, то есть «на душу населения» значительно больше…

Понять глубинные причины роста самоубийств невозможно, не вглядываясь в духовные факторы — незримые опоры человеческого бытия. Дюркгейм отмечает, что нет огорчения настолько пустякового, чтобы оно не могло стать причиной добровольной гибели, — это заставляет искать истинную причину утраченной стойкости где-то глубже: закономерный, устрашающий рост самоубийств во всей цивилизованной Европе (в несколько раз за вторую половину XIX века — во Франции их число удваивалось каждые 30 лет) не мог бы зависеть от будничных бед, которых во все времена бывает предостаточно. Дюркгейм практически исключает внешние материальные факторы; о биологических не может быть и речи — биологические параметры не способны так резко меняться.

Уровень потребления алкоголя тоже не главная причина: пьянство больше распространено в низших классах общества, а самоубийства в высших; больше вина пьют на юге, а самоубийств больше на севере. И вообще, если человек сначала пил, а потом повесился, это вовсе не означает, что повесился он от того, что пил: и пьянство, и самоубийство могут быть просто последовательными стадиями единого процесса. Алкоголиков у нас сегодня раз в десять больше, чем алкоголичек, но суицидальных попыток среди последних, по некоторым данным, больше в несколько раз, — отчего бы алкоголю так по-разному действовать на женщин и мужчин? Вот социологический портрет, так сказать, рядовой алкоголички и алкоголички-суицидентки. Рядовая: воспитывалась в неполной семье, образование ниже среднего, имеет собственную семью, мотивы алкоголизации интерперсональные, форма потребления алкоголя систематически-групповая, тип деградации эксплозивный. Суицидентка: воспитывалась в полной семье, образование выше среднего, не отягченная алкоголем наследственность, мотивы алкоголизации интраперсональные, форма потребления алкоголя запойно-одиночная, тип изменения личности астенический. Как видите, рядовая алкоголичка включена в породившую ее среду, суицидентка же ни с кем не разделяет свой образ жизни, катастрофически не соответствующий устоям, в которых она была воспитана.

В этом и заключается, по Дюркгейму, глубинная причина: разрыв связей со своим кругом, утрата твердых, не вызывающих сомнений жизненных правил. Частоту самоубийств, на поверхностный взгляд, в его время увеличивал рост образования и благосостояния, но этому резко противоречила одна социальная

группа: евреи — не местечковые, живущие в изоляции, а просвещенные, ассимилировавшиеся европейские евреи, вполне усвоившие европейскую культуру и деловые навыки и ни имущественно, ни профессионально не выделявшиеся из обычного городского населения. Но евреям не страшно даже образование: относясь в социокультурном отношении к наиболее суицидоопасным слоям населения — дельцы, люди свободных профессий, — они выделялись из них пониженным уровнем самоубийств: их охраняла принадлежность к отчетливо очерченной общине, замешенная на религии регламентация быта. Разумеется, еврей-мясник и еврей-профессор верили очень по-разному, причем профессор (адвокат или писатель) зачастую и вовсе ни во что не верил, однако и скептики почитали в религиозных обрядах древний неприкосновенный обычай. Ритуал важнее мистической веры, полагал Дюркгейм, если только он почитается: в религии важнее всего совокупность неприкосновенных общественных обычаев. И чем большую свободу мыслей и отступлений от обрядов она предоставляет, тем шире круг самоубийц: их, в частности, больше среди протестантов, чем среди католиков (это наблюдение Дюркгейма впоследствии оспаривал его ученик М. Хальбвакс: среди католиков больше крестьян).

Подчинение желаний индивида некоему общепринятому духовному руководству Дюркгейм назвал сплоченностью общества. В падении сплоченности он и усматривал глубинную причину роста самоуничтожений. Однако этого рода «сплоченность» вовсе не означает взаимной любви — уменьшение самоубийств может идти рука об руку с возрастанием преступности. Кастовые, патриархальные общества с низким уровнем самоубийств современному человеку представляются просто ужасными, но — в них и угнетатели, и угнетенные, и даже преступники одинаково смотрят на вещи, существующий порядок представляется им единственно возможным, они имеют объекты совместного поклонения.

Именно освобождение желаний из-под контроля общества, утрата единства норм и ценностей, по мнению Дюркгейма, являются причиной резко повышенного уровня самоубийств в двух группах: люди свободных профессий и дельцы.

Люди свободных профессий, составляя наиболее культурную часть общества, лучше других понимают, что под луной нет ничего абсолютно справедливого, абсолютно достойного, абсолютно красивого, — что считается красивым у одних народов, безобразно у других, где-то невинность девушки свидетельствует о ее непорочности, а где-то всего лишь о

непривлекательности, где-то превыше всего ценится талант, а где-то родовитость, все бренно, все преходяще, ничто не вызывает безоговорочного восторга и безоговорочной, не рассуждающей ненависти, — а потому и ни одна цель не захватывает до конца.

Культурному человеку, «умнику» обычаи собственного народа не представляются единственно возможными, а неспособность толпы усомниться в них лишь усугубляет презрение к людям — с их преклонением перед властью, богатством, ловкостью, жестокостью, с их примитивными вкусами, с их доверчивостью к нелепым и злобным слухам, к демагогам и колдунам (экстрасенсам) — и недоверие к пророкам и ученым… Все так, но драма в том, что люди представляют собой практически единственную земную цель всякого творчества. Одиночество — это не отсутствие собутыльников, одиночество — это никем не разделяемая любовь к чему-то. Например, к своему таланту…

Самоубийства этого рода Дюркгейм называет эгоистическими — именно пренебрежение к людям, считает он, лишает жизнь цели.

Но ведь все эти утонченности недоступны «делягам», на первый взгляд сориентированным на собственное брюхо? Однако и они озабочены вовсе не брюхом, а социальным успехом, а последний не имеет естественных границ. Желаниям может положить границу лишь авторитет, который мы уважали бы внутри себя, а не напоказ. В патриархальном, замкнутом обществе роль такого ограничителя исполняет общепринятый обычай: парию не мечтает стать брамином, а крепостной — барином.

Но в обществе, нацеленном на безграничное обогащение, на безграничное движение ввысь, для притязаний исчезают всякие рамки, — дельцы более всего страдают от непомерно разрастающихся аппетитов: они легко «рискуют необходимым в надежде приобрести излишнее», а неудача представляется вселенской катастрофой…

Итак, «умники» утрачивают цель своей деятельности, а «деляги» — границы своих потребностей. В итоге же культура становится не роскошью, а средством выживания. В начале века рост образования резко увеличивал вероятность самоубийства. Революция, по-видимому, лишь усугубила этот процесс: по оценке Л. Лейбовича (1923 год) грамотность увеличивала склонность к самоубийству в 3–4 раза, а высшее образование — чуть ли не в 50 раз. Но в последние годы советской власти картина была обратной: среди людей с высшим образованием уровень самоубийств был понижен примерно в 1,5 раза, а отсутствие среднего образования в 2,5 раза увеличивало его. Ибо

необразованность уже не связана с приверженностью к традициям, нынешний крестьянин такой же прагматик, как и банкир. Зато больше всего спасительных иллюзий сегодня, на мой взгляд, осталось у интеллигенции. Беззащитная социально, она лучше других защищена экзистенциально.

Многое с тех пор переменилось — самоубийства в Венгрии несколько пошли на убыль, хотя жизнью там недовольны все, кого я ни спрашивал, но — что же делать, жить-то надо! Только в этом и вся разница — то казалось, что «не надо», а теперь кажется, что «надо». Боюсь, по единственной этой причине наши самоубийцы сегодня опередили венгерских. А в Соединенных Штатах чернокожие стали чаще убивать себя из-за повышения их жизненного статуса: получая образование, они отрываются от привычной среды, а в новом, хотя и более высоком, общественном слое пока что не принимаются до конца, да, может быть, и сами не вполне принимают его. Самоубийства сопутствуют всяким обновлениям — и в худшую, и в лучшую сторону.

В Германии позапрошлого века ситуация после франко-прусской войны была полностью противоположна нашей — не «развал», а объединение страны, не «бегство» капиталов, а их приток из-за границы (огромные репарации), не экономический спад, а экономическое оживление, — и сопутствующий этой недосягаемой мечте стремительный рост самоубийств. И стремительное их падение с началом Первой мировой войны — при сопутствующем падении уровня жизни и нарастании всевозможных тревог и ужасов: возникает общее дело, в несчастьях начинают видеть норму жизни…

Сегодня в тех странах, где реформы идут сравнительно успешно (Польша, Чехия), уровень самоубийств все равно существенно выше дореформенного. В Прибалтийских же республиках эта тенденция выражена еще более отчетливо. Зато в России уровень самоубийств в образованном слое по-прежнему ниже, чем в необразованном — хотя и бедность, и утрата статуса особенно больно ударила именно по интеллигенции. Впрочем, старых добрых большевиков не смущала и обратная картина: судя по отрывочным публикациям, уровень самоубийств среди лиц с высшим образованием в 20-е годы в десятки раз превосходил средний уровень. Который, впрочем, тоже рос: с 23-го по 26-й год — в полтора (!) раза. Однако нарком Семашко тогда не без гордости писал, что возросший уровень самоубийств среди женщин свидетельствует об их возросшей социальной активности. Дело знакомое: «наши» самоубийства — самые прогрессивные. Тем не менее, вскоре было сочтено более благоразумным вообще закрыть тему — оказалось, на шестьдесят

лет. Но любопытно напоследок взглянуть, до какой степени Октябрьская революция годилась на роль снижающего уровень самоубийств «общего дела», каковым несомненно была «Германская». Посмотрим сначала на Петербург: 1913-й год — 29 самоубийств на 100 тыс. жителей, 1915-й — 11(!), 1917-й — 10, 1919 — 24 (рост в 2,5 раза!), 1922-й — 30, 1925-й — 34. В Москве в эти же годы соответствующие цифры менее выражены, но качественно сходны: 1913-й — 21, 1915-й — 11, 1917-й — 7, 1919-й — 9, 1922-й — 14, 1925-й — 17. По сравнению с 1917-м годом рост в 2,5–3 раза! Где же вы были, тогдашние директора племсовхозов?

Сегодня россиянам непрестанно навязывается абсолютно бесплодный и деморализующий их образ — образ беспомощных жертв кучки мошенников и политиканов, а не участников трудного, мучительного, но огромного и важного общего дела, гуманистического возрождения России. Пигмеизация политики, которой наперебой занимаются защитники униженных и оскорбленных, наиболее болезненно отражается именно на тех, кого они якобы защищают. Защищают социально, уничтожая их экзистенциальную защиту.

Красота защищает от самоубийств. Но может к ним и подталкивать, если национальная культура считает самоубийство в определенных ситуациях доблестью. Самураев, например, с детства учили убивать себя даже без оружия и со связанными руками — прокусывая себе язык, чтобы истечь кровью; индийскую женщину тоже с малолетства готовили к сати — добровольному сожжению в случае смерти мужа, — в противном случае и ее, и ее семью ждал страшный позор. Однако такие самоубийства было бы точнее назвать самопожертвованиями, они совершаются не в надломе воли, но, напротив, в предельной ее мобилизации.

Образцы для подражания могут жить в преданиях, но могут лежать и совсем близко, — заразительность самоубийств отмечалась не однажды и в монастырях, и во вполне светских учреждениях закрытого типа. Разговоры в семье о каком-то покончившем с собой родственнике тоже не проходят бесследно. Дюркгейм описывает семейство, прямо-таки преследуемое роком: все девушки из этой семьи, достигнув совершеннолетия, пытались покончить с собой, — но если им это не удавалось, попыток уже не повторяли. В этом же самом семействе воспитывалась приемная дочь, ни с кем не находившаяся даже в отдаленном родстве, однако этого не знавшая. И все же с приближением совершеннолетия ее начали преследовать неотступные мысли о самоуничтожении, — пока она, не выдержав, не рассказала о них приемным родителям. Те, посовещавшись, почли за лучшее

признаться, что она им вовсе не дочь, — и зловещие мысли немедленно оставили ее навсегда.

Если в какой-то части общества бытует образ «романтического самоубийцы», можно быть уверенным, что у него найдутся подражатели. Есенин, Хемингуэй, Ван Гог, Маяковский, Цветаева наверняка поселили у многих представление о том, что покончить с собой способны лишь люди выдающиеся, — этим романтикам будет полезно узнать о поразительно высоком уровне самоубийств среди унтер-офицеров, а также среди оленеводов малых народностей Севера.

Считается, что «Вертер» вызвал волну подражаний, «Бедная Лиза» тоже как будто не осталась без последствий, — однако я, конечно, не рискнул бы давать указания Гете или Карамзину. Вот телесообщения о самоубийствах, даваемые вперемешку с сообщениями о рок-концертах, — это та бестактность, которую нетрудно исправить, а серьезное искусство вряд ли поддается целенаправленному воздействию, пытаться управлять им — значит уничтожить его, оставив тем самым духовную жизнь человечества без точнейшего индикатора. Причем уничтожить напрасно, поскольку и без него влияние третьесортной худпродукции все равно добирается даже туда, где не пользуется влиянием ни «Анна Каренина», ни «Мадам Бовари»: в предсмертных записках самоубийц более всего заметно влияние расхожих фольклорных образов и эстрадных песен типа «на тебе сошелся клином белый свет».

Специалисты, беседуя со спасенным суицидентом, иногда обнаруживают, что на окончательное решение его навела телепередача, фильм, книга. Как этому воспрепятствовать, я не знаю, — цензура была бы лекарством хуже болезни. При наличии достаточно сильной глубинной причины, поводом для суицида может стать что угодно — был случай, когда отчаявшийся человек прочел в метро «Выхода нет» и… Не писать же из-за этого на всех дверях «Выход есть!» Но некие азы суицидологической «техники безопасности» нам всем следовало бы пройти, чтобы мы до какой-то степени могли предугадывать, что слово наше может отозваться и таким образом. Слово, фотография или кадр. Что самоубийство рок-звезды способно вызвать волну подражаний, — это нормальный человек еще мог бы предсказать. Но что и телесообщение об этих подражаниях способно вызвать новую волну, без специальных знаний предугадать трудно.

В принципе, провоцирующим фактором способен сделаться и сам суицидальный ликбез, но его отсутствие, вероятно, приносит больше зла. Понимание механизмов самоубийства, как минимум, деромантизирует его, а это уже немало: одно дело подражать

герою, другое — несчастному с прохудившейся экзистенциальной защитой. А как еще можно ослабить эстетическую привлекательность суицида — вопрос нелегкий. В древних Афинах на самоубийство требовалось разрешение властей, — нарушителя оставляли без погребения, страдали наследники. В Риме солдат, покушавшийся на самоубийство, подвергался смертной казни, — но если имел уважительную причину, только изгонялся из армии. Самым позорным считалось самоубийство с целью избежать наказания: государственная власть всегда желала быть сильнее смерти.

Христианство запрещало самоубийство как результат дьявольской злобы, труп хоронили «без церковного пенья, без ладана», завещание самоубийцы лишалось законной силы. Церковью оправдывалось лишь самоубийство Самсона и самоубийство девственницы, спасавшей свое целомудрие. Да каждое из них и не было самоубийством отчаяния, бегством от жизни, — строго говоря, это тоже были самопожертвования.

Великая Французская революция дала юридическое право на самоубийство, а к началу 20 века самоубийство продолжало считаться преступлением только в Англии. В очерковой книге Джека Лондона «Люди бездны» есть удручающие описания процессов над самоубийцами-неудачниками (хотя что здесь считать удачей?), иные судьи прямо распекали их за неумелость: «Топиться так топиться, зачем же причинять людям хлопоты!»

В допетровской Руси к самоубийцам причисляли и опившихся вином, и убитых во время разбоя. Петр Великий распорядился, «ежели кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собою чинить не отваживались». Только советское законодательство, среди многочисленных иных свобод, обеспечило и свободу самоубийства, и в данном, едва ли не единственном, случае мы эту свободу действительно получили — ни самоубийцам, ни их родственникам уже не приходилось опасаться закона. Но общественное мнение и уголовный кодекс — далеко не одно и то же, управлять мнениями, желаниями чрезвычайно трудно.

Есть старинная история: чтобы пресечь эпидемию девичьих самоубийств, магистрат распорядился выставлять нагие тела нарушительниц порядка на всеобщее обозрение, — и эпидемия сразу же угасла. Подозреваю, что это легенда. Но в начале того же 20 века кое-кто предлагал вернуться к подобным испытанным методам, чтобы сделать самоубийство позорным актом. Не исключено, что это принесло бы кое-какие плоды, но сами эти методы настолько отвратительны, что жизнь среди людей,

одобрительно на них взирающих, все равно была бы мерзостной, если бы даже мы и перестали накладывать на себя руки. Лично меня коробят даже такие сравнительно слабые определения самоубийц, как «психи» и «слабаки»: этой эмоциональной тупости может оказаться достаточно, чтобы лишить будущего самоубийцу последней надежды. С людьми отзывчивыми он бы еще мог поделиться своими мыслями, но с этими румяными здоровяками… Три четверти подростков-суицидентов так или иначе предупреждали родителей, но понята была лишь третья часть. Есть даже специальный миф, что «настоящий» самоубийца никогда об этом не говорит — если бы!.. Еще как говорит — намекает, просит…

Впрочем, жизнь среди сочувствующих людей действительно делает нас более ранимыми: «любимые» дети чаще фантазируют о самоубийстве — но приводят свои фантазии в исполнение реже.

По результатам одного исследования — советских времен, кто сейчас станет такое финансировать! — в котором был опрошен едва ли не каждый двадцатый ленинградец, к суициду очень немногие относятся с активным неодобрением (0,8 % среди служащих без высшего образования и 1 % среди учащихся). Индифферентно: рабочие — 19,4 %, служащие без высшего образования — 13 %, с высшим образованием — 7,4 %, учащиеся — 14 %. Сочувствуют: рабочие — 56,6 %, служащие без высшего образования — 78 %, с высшим образованием — 82 %, учащиеся — 72 %. Складывается впечатление, что люди образованные, вопреки давно и усердно распространяемому заблуждению, более склонны к сопереживанию. Это обнадеживает.

Мне кажется, правильное отношение к самоубийце — это, безусловно, сострадание. Сострадание без взгляда свысока («завтра и я вполне могу оказаться на его месте»), но и без романтизации, без пиетета, — как к человеку, попавшему в ситуацию чрезвычайно мучительную, но нашедшему из нее не самый лучший выход. Выход, из которого выхода уже нет и к которому, по мнению многих специалистов, он не так уж и стремился. Одному виднейшему суицидологу принадлежат слова: настоящий самоубийца — это тот, кто режет себе горло и одновременно кричит о помощи. Многие исследования подтверждают, что самоубийца желает вовсе не умереть, а лишь каким угодно способом прекратить свои мучения, «что-то сделать с собой», причем далеко не всегда ощущает свой поступок бесповоротным, до конца осознает, что смерть — это «навсегда». С детьми это бывает особенно часто. Отмечаются типы самоубийств, преследующих (иногда и неосознанно) вполне посторонние цели: «жажда передышки», «самонаказание», «крик о

помощи», «протест»…

Но если мы готовы сострадать реальному самоубийце, почему же самоубийства в искусстве так часто вызывают в нас растроганность, смешанную с восторгом? «Лучше в Волге мне быть утопимому, чем на свете мне жить нелюбимому» — может быть, нужно пореже исполнять подобные песни? Осмеивать их, всячески депоэтизировать? Я думаю, трогает и восхищает нас не смерть, а сила страсти. В одном своем рассказе Фазиль Искандер напрямую оправдывает самоубийство из-за потери любимой: чего стоили бы все слова о том, что любимая дороже жизни, если бы изредка они не подтверждались делом? Да и вообще — весьма сомнительно, чтобы человек сделался счастливее, привыкнув ценить свою жизнь превыше всего на свете — и оттого погрузившись в беспрерывный страх потерять ее.

Катон, раздирающий рану, чтобы не пережить падение республики, Лукреция, пронзающая себя кинжалом, чтобы не пережить утраты чести, — восхищает нас здесь отнюдь не капитуляция, а, напротив, целеустремленность, способность поставить свою святыню выше жизни. Не нужно путать самоубийство и самопожертвование. Самоубийца лишен экзистенциальной защиты, а герой ею, можно сказать, ослеплен.

Красота убивающая

Красота может не только защищать, но и обрекать на смерть. В давнем споре, допустима или нет смертная казнь, именно ее голос является решающим, хотя спорящие этого и не сознают, из года в год и из века в век повторяя приевшиеся аргументы.

Одни только публикации на тему «Смертная казнь — за и против» учету не поддаются, и даже в научной печати счет идет на тысячи. Тем не менее, воз и ныне там, где его оставили Кант и Беккариа. Первый считал, что казни требует Разум; второй — что разум требует ее отмены, ибо она не предотвращает преступлений. К архетипическим аргументам можно, пожалуй, присоединить и отзыв Вольтера о воспитательной функции смертной казни: невозможно при помощи убийств заставить людей ненавидеть убийства. Но сколько ни забирайся в глубь веков, ничего неопровержимого все равно не найдешь.

И я давно предлагаю подвести итог в духе Лобачевского: то, что веками не удается доказать, и не может быть доказано.

В самом деле, аргументы «про» и «контра» можно разделить на три группы: рациональные, эмоциональные и метафизические. Рациональные пытаются доказывать, что казни каким-то образом влияют на уровень преступности, и прежде всего — убийств. Аргументы эмоциональные требуют казнить убийцу (помиловать его) просто потому, что этого «душа требует». Метафизические же аргументы обосновывают ту или иную точку зрения апелляцией к каким-то «вечным», не зависящим от наших человеческих пристрастий законам — законам Природы, Справедливости, Милосердия, Божества… Вот с них, метафизических, и начнем.

Христианский Бог запрещает убийство даже самого последнего негодяя — в этом Лев Толстой был убежден так же неколебимо, как Фома Аквинский в том, что казнь преступника вовсе не убийство, а лишь исполнение Божественной воли, которую злодей преступил. Кант полагал, что убийцу следует казнить, если даже точно известно, что он больше никого никогда не тронет и, более того, сделается полезным членом общества: справедливость не должна быть предметом торга. Люди казнят с особой непринужденностью, когда ощущают себя всего лишь орудиями неких высших сил.

Но — сегодня людей, искренне верующих в существование каких-то указаний свыше, не слишком много. Да и они при этом прекрасно знают, насколько противоположным образом могут быть истолкованы даже самые что ни на есть недвусмысленные требования не убивать и не мстить: казнь не убийство, но

спасение души преступника от хотя бы будущих грехов; врагов нужно прощать, но только своих, а не Божиих; и вообще, нам не дано постичь буквальный смысл Писания: то, что написано Святым духом, может быть и прочитано только Святым духом, — все это слова христианских авторитетов.

Именно поэтому образованные и честные люди сегодня стараются быть рациональными, обосновывать необходимость смертной казни или необходимость ее отмены какими-то утилитарными аргументами. Именно прагматиками для прагматиков и проведены те сотни статистических исследований, которые так ни к чему и не привели: три четверти исследователей не находят вовсе никакой связи между казнями и убийствами, остальные расходятся в мнениях, положительная это связь или отрицательная. Потому-то пишущий эти строки и пришел к выводу, что вопрос о применении смертной казни вообще не может быть решен рациональными методами: *высказываясь за смертную казнь или против нее, мы характеризуем не столько проблему, сколько собственную личность.*

Мои аргументы: преступность, и даже ее частный сектор убийств, характеризуется не одним, а многими параметрами, число которых каждый может неограниченно увеличивать по собственному вкусу. И если один параметр улучшается, а другой ухудшается, то будет делом тоже исключительно личного вкуса считать итоговое изменение улучшением или ухудшением. Простейший пример: общее число убийств уменьшилось, но возросло число убийств, совершенных женщинами, — к добру это или к худу? Уменьшилось количество немотивированных убийств, но возросло число корыстных, уменьшилось количество бытовых, но возросло число заказных — прогресс это или регресс? Стали несколько реже убивать добропорядочных граждан, но вдвое чаще «подонков» (бомжей, ранее судимых и т. п.) — такую эволюцию наверняка многие только приветствовали бы.

Но оставим подобные тонкости в стороне и возьмем наипростейшую ситуацию: суды увеличивают число казней и убийства идут на убыль. Это ничего не значит, возразят противники узаконенных убийств: «после этого» не значит «по причине этого». Кроме того, прибавят они, нашу жизнь от преступных посягательств ограждает вовсе не один, а, минимум, два барьера: первый — страх преступников перед наказанием, второй — безотчетный ужас перед лишением жизни *любого* человека, ужас, который общество в состоянии внушить своим членам ровно в той степени, в какой оно само его испытывает. И казни, укрепляя первый барьер, разрушают второй: в обществе,

привычном к казням, убийство перестает ощущаться делом *немыслимым.* Поэтому отдаленные последствия казней могут быть совсем иными, чем ближайшие, — чтобы оценить влияние казней, нужно рассмотреть статистику хотя бы лет за десять-двадцать.

Но за десять-двадцать лет случится не один десяток событий, способных тоже повлиять на уровень убийств: возрастет или снизится жизненный уровень, имущественная дифференциация, уровень безработицы, миграции, образования, доля молодежи или стариков среди населения, потребление алкоголя и наркотиков, изменятся жизненные ценности и стандарты, стрясется не один военный конфликт в самой стране или в зоне ее жизненных интересов — и т. д., и т. д., и т. д. В результате отдельный вклад собственно казней определить будет невозможно, как невозможно однозначно решить одно уравнение с десятью неизвестными.

Таким образом, все аргументы, претендующие на рациональность, в основе своей все равно оказываются либо эмоциональными, либо метафизическими. Именно метафизические мотивы бывают главными в периоды становления новых идеологий: и протестантизм, и большевизм постепенно смягчались, переходя от пламенной нетерпимости к равнодушной толерантности. Эмоциональные же основания более всего заметны в огромных колебаниях, которые испытывает отношение общества к казни в зависимости от того, что пишут в газетах и показывают по телевизору. Так, уровень убийств в СССР в 1980 году был на четверть выше, чем в 1989-м, но крики ужаса о всплеске преступности и, как следствие, о необходимости казнить, казнить и казнить раздались только в эпоху гласности. В странах с открытой статистикой происходит то же самое: покажут по телевизору серийного убийцу — число сторонников смертной казни подскакивает вдвое, покажут жертву судебной ошибки — оно падает ниже прежнего. Профаны не слишком задумываются о неустранимости судебных ошибок, но если им сообщить, что не где-нибудь, а в США ошибочно приговаривается к смерти каждый восьмой…

При этом у меня есть серьезнейшее подозрение, что в основе даже самых глубоких и утонченных метафизических аргументов все равно лежат эмоциональные, ибо даже и мышление философа, а не только мышление торгаша или сутяги, является подгонкой под желательный ответ, к которому без всяких оснований тянется его душа, — при том, разумеется, существенном отличии, что философу не требуется такое примитивное оружие, как прямая ложь: разумному достаточно

натяжек и подтасовок.

Поэтому давно пора взяться за изучение мотивов, заставляющих человека занимать твердую позицию в рационально неразрешимом вопросе. Чаще всего это не личные материальные интересы, а стремление сохранить психологически комфортабельную картину мира, которая тоже создается культурой. И если обозначить эту иллюзорную картину мира туманным словом «мироощущение», то мироощущение убежденного сторонника смертной казни окажется до оторопи сходным с мироощущением его врага.

Центральный пункт этого мироощущения может быть, пожалуй, охарактеризован словом «простота»: и типичные убийцы, и типичные их истребители *не знают сомнений,* они убеждены, что на любой вопрос существует единственно правильный ответ, что последствия их действий им точно известны и что — едва ли, может быть, не главное — они никогда ни в чем не виноваты, они всегда только защищаются. Похоже, оба эти типа вдобавок постоянно подкрепляют друг в друге убежденность, что с подобным народом иначе нельзя. Однако этой далеко не святой простоте присуща, повторяю, блаженная уверенность, что уж кто-кто, а они ни в коей мере не ответственны за дела, творящиеся в социуме.

А между тем, даже убийство тоже является всего лишь крайней вариацией нормы: меняется норма — меняется и крайность. В обществе, в котором «средние» граждане готовы с легкостью оскорбить рассердившего их человека, «крайние» будут готовы ударить; где «средние» готовы ударить, «крайние» будут готовы убить. Того, что *искренне* осуждается всеми, почти никто и не делает: преступник в чудовищно преувеличенном виде демонстрирует нам, каковы мы на деле, без маски.

Сторонники смертной казни часто ссылаются еще и на то, что если во все времена люди казнили преступников, значит в этом есть глубокий смысл. Однако смысл этот был больше символический, чем утилитарный, то есть казнь была актом более культурным, чем прагматическим, она была не столько устранением преступника, сколько театрализованным представлением, — недаром слово «казнь» происходит от того же корня, что и слово «показывать».

Хотите доказательств? Сколько угодно.

Приглядываясь к смертной казни с древнейших времен, начинаешь видеть в этой мрачной и безобразной процедуре массу совершенно излишних для любой утилитарной цели завитушек, которые сближают ее не с чем иным, как с прикладным искусством, предназначенным прежде всего *для демонстрации:*

оно призвано *производить впечатление* на какого-то ценителя (хотя бы воображаемого), что-то говорить о нашем богатстве, уме, хорошем или хотя бы экстравагантном вкусе — и так далее.

В старые добрые времена в смертной казни было столько демонстративного, зрелищного, в ней было столько условностей, аллегорий, символов, столько игры, цирка, спорта! И — да, юмора, хотя и первобытного: запекать человека в полом медном быке, чтобы его вопли имитировали рев животного, поджаривать на вертеле, как зайца, жарить в муке, как карася. В Индии преступника раздавливали при помощи дрессированного слона, хотя было бы гораздо проще раздавить его чем угодно — но это был бы уже не цирк. Распилить человека вдоль, подвесивши вниз головой, в сравнении с этим — грубая средневековая забава. Разорвать его четверкой лошадей, предварительно подрезав сухожилия, потому что иначе лошади не справляются, — здесь стремление к зрелищности еще более заметно, ибо можно было бы воспользоваться и лебедками — тогда не понадобились бы и мошеннические надрезы. Ну, а пожирание преступников дикими зверями в Древнем Риме действительно происходило в цирке и было любимым зрелищем римского народа. В Индокитае еще в средине XX века палач приближался к привязанной жертве, танцуя (жертве замазывали уши грязью, а в рот вставляли зажженную папиросу).

В средневековой Франции стационарная виселица служила знаком могущества сеньора: у герцога она была о шести столбах, у барона — о четырех, у шателена — о трех, а у прочей мелюзги — всего лишь о двух. В Древнем Риме рабы имели отдельного палача. Во многих странах вора вешали выше или ниже в зависимости от размеров кражи. Повешение считалось бесчестной казнью, а отсечение головы — привилегированной, хотя в Китае, например, все обстояло наоборот: там считалось зазорным утратить какой-то член, и, может быть, именно поэтому там возникла такая скрупулезная казнь, как рассечение на тысячу кусков — на мраморном столе, при помощи ножей разнообразной формы, каждый из которых предназначен для одной операции: для вырывания глаз, для удаления половых органов, «для рук», «для ног» — как банные тазики или полотенца. Столь тщательные регламентации не встречаются в утилитарных делах, где все стараются упростить и удешевить. В Европе, правда, потрошили проще, но зато внутренности сжигали у жертвы на глазах.

В свое время была распространена казнь-аллегория, казнь-нравоучение. В Риме периода империи поджигателя подвергали сожжению («подобное подобным»), фальшивомонетчикам на Руси «заливали теми их воровскими деньгами горло», существовал

обычай казнить строителя, если в рухнувшем доме погибал его хозяин, но если погибал сын хозяина — казнили сына строителя. Любовников за прелюбодеяние обоих вместе закапывали живьем, а в древней Индии — укладывали на раскаленное ложе либо заставляли имитировать совокупление с раскаленным манекеном. В Германии за изнасилование вбивали в сердце дубовый кол (тоже «подобное подобным»?), причем первые три удара наносила жертва сладострастника.

Древние германцы перебежчиков вешали на деревьях, а трусов топили в грязи. В целях большей выразительности в разных странах часто казнили вместе с животными: вешали рядом с двумя волками или собаками, отцеубийц топили в мешке в обществе петуха, обезьяны и змеи. Тела Стеньки Разина и Никиты Пустосвята были отданы псам на снедь, театральность особенно заметна в расправах над умершими: так, полусгнившие останки Милославского по распоряжению великого Петра на свиньях везут к месту казни его сообщников и там обливают труп их кровью. Но, может быть, еще более театральна расправа над куклою Мазепы («Мазепы лик терзает кат»).

Казнь-нравоучение наводит некоторых теоретиков на мысль, что в выборе казни люди руководствуются некой идеей «соразмерности» казни и преступления. Но скажите, что общего — «соразмерного» — между привязанностью к папству и вырыванием внутренностей, между убийством мужа и закапыванием по плечи, между кражей земледельческих орудий или пчел и вытягиванием кишок (извлеченную из распоротого живота кишку прибивают к дереву и гоняют вора вокруг него, покуда он в силах держаться на ногах). Почему тот же Петр Великий, который так охотно рубил головы, сажал на кол и колесовал (кстати, по какой причине кости при колесовании нужно дробить именно колесом?), Гришку Талицкого и его сообщника Савина за распространение возмутительных тетрадей о царской особе подверг копчению заживо: их окуривали едким дымом в течение восьми часов, так что у них вылезли все волосы на голове и на бороде, а тела истаяли, как воск. Почему, в конце концов, женщин предпочитали казнить «без крови» — сжигать или топить? На каком основании выбирали, кого варить в воде, кого в вине, а кого в масле? Зачем нужно не просто медленно погрузить человека в воду, а предоставить это сделать приливу? Погрузить до пояса в бочку с негашеной известью, подвесить подбородком на перекладину так, чтобы казнимый едва доставал кончиками пальцев до груды камней и несколько часов изо всех сил тянулся на цыпочках, прежде чем умереть от удушья (если агония затягивалась, можно было время от времени убирать по

камешку), — все это напоминает, скорее, не бухгалтерские расчеты, а вольную фантазию художника или игру счастливых любовников, не знающих, в какой еще позиции им воплотить свою солнечную страсть.

Когда душевнобольной Дамиен оцарапал Людовика XV перочинным ножом, казнь сочиняли всей Францией, но получилась всего лишь тяжеловесная компиляция: вырывать раскаленными клещами куски мяса, а в образовавшиеся раны вливать расплавленное олово, кипящее масло, смолу и другие тому подобные банальности, закончившиеся заурядным разрыванием на части четверкой лошадей. Зато королю было выказано подобающее уважение. Здесь мы имеем еще одну разновидность казни — казнь-жест.

Более демократичный смысл имеет казнь как жест коллективного отторжения: преступника волокут на место казни, привязавши к конскому хвосту, везут задом наперед на осле, в телеге для нечистот, наряженного в дурацкую шапку с рогами, с перьями, с хвостом, с погремушками, подвергая *коллективному унижению* со стороны народных масс, швыряющих в злодея нечистоты: чистый театр — *знаки* всенародного презрения. Нечто подобное происходило и у нас в тридцатые годы — в символической форме всенародного одобрения. В Китае и до самого последнего времени осужденных водили по улицам со склоненной головой, с плакатом на груди, выставляли на многолюдных митингах, чтобы они почувствовали, до чего они противны народу. В Иране до недавних пор сохранялась такая казнь, как *коллективное* забрасывание камнями (камни соответствующего размера привозили на самосвале, ибо они «не должны быть такими, чтобы лицо умерло от одного или двух ударов, но они не должны быть и такими маленькими, чтобы их нельзя было назвать камнями»). Смертная казнь при этом могла быть назначена за супружескую измену, за проституцию, за неоднократное употребление спиртных напитков, а также «за недостойную жизнь на земле».

Смертная казнь как жест отторжения, наверно, и в самом деле содействует сплоченности народа, давая яркое и зримое воплощение абстрактной формуле «в едином порыве». Может быть, именно эту ее функцию — функцию объединяюще-отторгающего символа — смутно чувствуют защитники смертной казни. Однако, чаще всего не догадываясь или не смея настаивать на эстетической, демонстративной функции смертной казни, они тщетно пытаются отыскать в ней функции утилитарные: уничтожение преступников, как опасных хищников (хотя их просто можно держать в клетках), а особенно — устрашение

потенциальных преступников.

Тем не менее в те времена, когда на виселицах месяцами болтались полуистлевшие тела, — именно тогда публичные казни приобрели характер увлекательного зрелища. Казанова, присутствовавший при казни Дамиена, расположившись у окна в дамском обществе, заметил, как его знакомец приподнял сзади юбку одной из зрительниц и продолжал шуршать ею во все время многочасовой процедуры. В Пруссии толпа немедленно бросалась на место казни играть в снежки. Диккенсу, присутствовавшему при повешении супружеской четы Маннинг, веселье толпы показалось ужаснее не только казни, но и самого преступления — и больше всех веселились будущие висельники. Ну, а тот факт, что во время казни карманных воров совершалось больше всего карманных краж, — это пример уже хрестоматийный.

В ту пору, когда в России казнили за все подряд, у иностранных наблюдателей складывалось впечатление, что русские смерть не ставят ни во что: преспокойно надевают саван, петлю на шею и сами бросаются с подмостков; колесованный парень с трудом высвободил раздробленную руку и вытер ею нос. Заметив кровь на колесе, он вытер и ее, а потом спокойно вложил руку обратно. Полузакопанные со связанными руками женщины кивком благодарили тех, кто бросал им деньги на гроб и свечи, и даже просили поправить косынку (агония иногда затягивалась на целый месяц). В эпоху «столыпинских галстуков» Толстой и Короленко ужасались распространившейся среди детей игре в повешение. А уж как мы в детстве любили играть в расстрел!..

На утрату торжественности смертной казни не раз сетовали консервативные мыслители, свято верующие в ее необходимость. Чтобы вернуть престиж профессии палача, они предлагали выбирать палачей из людей «добрых, умелых, вежливых и отважных» (с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками). Добрейший поэт Василий Андреевич Жуковский по поводу массового свинства, творившегося во время казни тех же Маннингов, проникновенно писал: «Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогающий и ужасающий душу», дабы она была «актом любви христианской» — восхождение на эшафот должно начинаться с храма, сопровождаться «умоляющим пением», а толпа за оградой должна слушать его и креститься. Это предложение высмеял Чернышевский (едва ли не в единственном этом случае одобренный Набоковым), однако при всей смехотворности этой идеи Жуковский все-таки угадал главнейшую разновидность смертной казни — казнь-таинство.

В древности смертная казнь, в отличие от убийства из мести,

часто бывала жертвоприношением. У древних германцев, по свидетельству Тацита, карать смертью (и даже подвергать бичеванию) дозволялось только жрецам, да и они делали это «как бы не в наказание и не по распоряжению вождя, а якобы по повелению Бога». В Скандинавии готовящийся к смерти преступник становился лицом, приближенным к Богу: казнь превращалась в народное празднество, являлись вожди, виновника торжества окружали почестями, украшали, одаривали подарками. Кровью казненного кропили священные предметы, а в Мексике жрец отжимал вырванное бьющееся сердце прямиком на губы идола.

Роль палача сближалась с ролью жреца — именно это окружало палачей почтением, и обаяние это не вернуть никаким чистым сердцем и холодными руками. Именно отблеск священнодействия позволял массовые сожжения еретиков превращать в атрибуты государственных торжеств — по случаю вступления на престол или в брак, по случаю рождения наследника и т. п. Жгли несколько дней подряд (без пролития крови — опять символ!) сотнями и тысячами, для пущей яркости обряжая средства иллюминации в пропитанные серой рубахи и набивая горючие вещества «в секретные части тела». Ролью палача не брезговали и монархи: Дарий собственноручно отрезал нос, губы и уши индийскому царю, Иван Грозный тоже любил потешиться, Петр I самолично отрубил головы пятерым стрельцам (а Алексашка Меньшиков похвалялся, что управился аж с двадцатью — казнь-спорт).

Именно благодаря мистическому, царственному отсвету, а не палаческим добродетелям в некоторых местностях Германии палачи обретали дворянский титул, а во Франции занимали почетное место в торжественных процессиях. Падать же их престиж, повторяю, начал тогда, когда казни стали придавать лишь сугубо земное, утилитарное значение. Палачи по-прежнему окружались суевериями, но уже нелестными. С ними боялись жить рядом, боялись даже принимать у них деньги, выискивая на них кровавые пятна. В России стало трудно находить помощников палачей, которых прежде просто выдергивали из толпы, а в 1768 году был издан указ, вообще запрещающий привлекать в палачи на общественных началах — из-за «неустройств и обид».

Когда в казни начали видеть лишь простую санитарную функцию, престиж палача и начал сближаться с престижем ассенизатора и «тараканомора». Окружить убийство беззащитного человека поэзией и вообще, по-видимому, возможно лишь во имя каких-то надчеловеческих святынь: Справедливости, Целесообразности, Бога, в конце концов.

Казнь-месть, казнь-нравоучение, казнь-спорт, казнь-цирк, казнь-жест вполне возможны и сегодня — только не казнь-таинство. Однако, утратив театральное, символическое значение, смертная казнь перестает выполнять едва ли не единственную функцию, которую она хоть когда-то имела. Значение символа и без того всегда приходит в столкновение с его материальной природой (кощунствуя, прежде всего указывают именно на нее: икона — доска, знамя — тряпка), а такая процедура, как убийство, тем более не может не быть отвратительной, если вглядываться не в символическое значение, а в материальные детали: даже в охваченном гильотинирующим энтузиазмом Париже, когда падение голов в корзину приветствовалось взрывом аплодисментов, прокурор просил принять меры против собак, собирающихся лакать кровь казненных.

Сторонники смертной казни уже много лет тщетно стараются изгнать из убийства низкие, «земные» подробности. В Великобритании в 1949 году специальная Королевская комиссия, составленная для исследования различных способов казни с точки зрения их «гуманности, надежности и пристойности», нашла, что нет ничего гуманнее и пристойнее, чем повешение, соединенное с падением (высота падения — дело индивидуальное), но их противникам довольно указать на разрыв или передавливание спинного мозга, на непроизвольную дефекацию, от которой казненный теряет до полутора килограммов веса, чтобы покончить с надеждами на приличия.

В Калифорнии повешение было заменено газовой камерой после того, как у повешенного оторвалась голова, беспардонно нарушив все требования благопристойности.

В 1888 году в Нью-Йорке особая комиссия после двухлетних заседаний также выбрала «наиболее человечный и удобный способ казни», остановившись в конце концов на электрическом стуле (влажные медные электроды закрепляются на голове и ноге, предварительно обритых, смерть наступает от паралича сердца и дыхания). Но подробности и здесь оказываются неблагопристойными: обугленные внутренности, запах горелого мяса, страшные корчи, во время которых у жертвы вырываются звуки, похожие на конское ржание, происходит непроизвольное мочеиспускание, дефекация, слюнотечение, кровавая рвота. Иногда казнь затягивается до четверти часа, а жертва все еще продолжает дышать.

Внутривенное вливание яда, для благожелательного взгляда, — просто медицинская процедура обезболивания. Однако при зарубцованных венах может потребоваться и хирургическое вмешательство. Кроме того, при сопротивлении

осужденного яд может попасть в артерию или мышечную ткань и причинить страдания. Иногда человек остается в сознании минут десять и жалуется на боль. На что уж невинно отравление газом (цианид) — смертника привязывают к креслу в герметичной камере, похожей на батискаф, к груди прикрепляют стетоскоп, посредством которого врач через наушники следит за сердечной деятельностью, — но уже сама эта продуманность выглядит циничной. К тому же и бессознательное состояние наступает не сразу из-за того, что казнимый негодяй задерживает дыхание. Затем на лбу вздуваются вены, тело содрогается от страшного кашля, сопровождаемого обильным слюнотечением. Притом и после потери сознания тело может дергаться и биться затылком еще несколько минут…

Рациональные аргументы против смертной казни были, в основном, известны и сто лет назад. Социологи, сопоставляя статистику казней и статистику убийств, обнаружили лишь одну закономерность: каждый новый режим начинал усиленно казнить, постепенно смягчаясь, но ни жестокость, ни снисходительность не производили на убийц никакого впечатления. В жутких подробностях тоже не было недостатка (проф. Минаков даже высказывал мнение, что многих повешенных хоронят заживо; был действительный случай, когда при вскрытии повешенного в анатомическом театре оказалось, что у него бьется сердце, причем оно продолжало биться еще несколько часов). В распоряжении сторонников смертной казни оставались (если не считать прямой лжи) только пафос и ритуалы, сама бессмысленность которых заставляет искать в физиологически-канцелярской процедуре нечто таинственное; утратив магическое значение, ритуалы приобрели значение маскировочное.

Я не говорю о каком-нибудь Эквадоре, где убийц обряжали в белое с красным, изменников в черное, а отцеубийц — так даже в белую тунику, обрызганную кровью и притом разорванную, а голову покрывали черным покрывалом, — нет, даже в просвещенной Франции отцеубийца еще недавно шел на гильотину босиком, покрытый черной вуалью. Да и вплоть до самой отмены смертной казни в 1981 году у осужденных перед гильотинированием вырезали ворот рубашки. (Не лучше ли тогда уж вовсе ее снять?)

В России казням террористов тоже старались придать характер таинства (барабанная дробь, высоченные колесницы, саваны, надетые на живых), но канцелярия берет свое, все утилитарные процедуры неизбежно рационализируются: вешают по очереди на пожарной лестнице, прислоненной к стене, перед казнью с осужденного *берут подписку,* что с приговором он

ознакомлен. В современных Соединенных Штатах — при том, что осужденных перед казнью потчуют успокоительным снадобьем, — ровно за четыре недели, однако же, с них снимают мерку для последнего костюма, ровно в четыре тридцать — «последний прием пищи», между пятью и шестью бритье головы и ноги, а ровно в семь включается рубильник. Но канцелярские подробности (чего стоит одно только изготовленное заранее свидетельство о смерти: «причина смерти — казнь электрическим током») способны демистифицировать самый утонченный регламент.

В нашей стране до последнего времени расстреливали без особых затей, и это обнадеживает: значит, уже никто не пытается омерзительное превратить в торжественное. Хотя, с другой стороны, простоту легко принять за величие. Может быть, был не так уж неправ Достоевский: нравственно только то, что *совпадает с нашим чувством красоты.* А потому в вопросе о смертной казни незримые эстетические критерии важнее утилитарных. Простенький тест: если бы кто-то неопровержимо доказал, что выматывание кишок снизит преступность на 15 %, согласилось бы принять эту казнь ваше эстетическое чувство? Мое — нет. Я соглашусь скорее подвергнуться дополнительному риску, чем жить в мире, где такое происходит.

Уж больно безобразным оказывается этот мир.

А значит вычурные казни уже перестали выполнять ту функцию экзистенциальной защиты, ради которой они в основном и изобретались. Да-да, что может мучительнее обнажить нашу мизерность и беззащитность, чем гибель не от прихоти бессмысленного хаоса, а от сознательного решения того единственного субъекта, от которого мы только и можем ждать какого-то уважения и сострадания, — от человека! А он вместо этого демонстрирует нам, что наша жизнь отнюдь не святыня, что ее можно отнять ради денег, квартир, чинов и прочего мусора! Конечно же, хочется немедленно «опустить» судью, вынесшего столь оскорбительный приговор — не только убить, но и его муками, его унижениями продемонстрировать себе, что суд столь жалкого существа мало чего стоит.

О том, что, казня преступника, мы руководствуемся местью, говорилось тысячекратно. Но о том, что его мучительной смертью мы стремимся восстановить собственную экзистенциальную защиту, мало кто задумывался. Беда только в том, что оружие это обоюдоострое — зрелище казни и даже знание о ней невольно обнажает и нашу собственную хрупкость и беззащитность.

Примиряющий и кощунственный

Но культура, кроме красоты (трагедии), создала еще одно орудие защиты — комедию. Защиту смехом.

Хотя люди пытаются возложить на смех столько обязанностей, что не сразу и поймешь, какая из них главная. Провинциальное кладбище, солнечный день накануне Троицы. Шумная, навеселе, полуродственная компания в обширной многоместной ограде готовит к празднику свой семейный пантеончик. Мужчины уже выкрасили решетку и натаскали песку и дерну, а женщины еще дометают и что-то поправляют на клумбах, то бишь могилах.

— В дырку засунь, — советует одна подметальщица другой — бойкой, подсушенной алкоголем бабенке.

— В *какую?* — уточняет та с такой блудливой улыбкой, что советчица с радостной недоверчивостью хохочет:

— Ну, чума, ну, чума!..

— Ладно, воровка, лучше дай-ка ведро. — Они обе недавно попались у себя на мясокомбинате при попытке вынести два батона колбасы.

— Держи, воровка, — еще радостнее отвечает первая: бойкая товарка раскрепощает ее, дает своими шуточками возможность не стыдиться того, что им навязывают как постыдное.

Мужчины тоже то и дело хохочут, чтобы убедить себя, что им весело, — иначе будет жалко денег, потраченных на выпивку. Два авторитета спорят, что полезнее для здоровья: вино после пива или наоборот. Каждый встречает доводы оппонента деланным смехом, зазывно поглядывая на окружающих: тот, кому удастся организовать коллективный смех, останется победителем. Побеждает мужик в возрасте, первым догадавшийся призвать на помощь поэзию, то бишь рифму.

— Пиво на вино — человек г…, — козырнул, он, — вино на пиво — человек на диво.

Все хохочут — этим и решается спор: неправ тот, над кем смеются.

Робкий мужичонка давно с умилением поглядывает на копошащихся в пыли воробьев.

— Чего они там клюют — одна же грязь… — как бы сам с собой бормочет он, на самом же деле желая соучастия своей умиленности.

— Гляди, гляди, дерутся, ха-ха-ха, — он смеется, чтобы показать, до чего он хорошо проводит время, и тем заманить еще кого-то. Но право выбирать объекты и для смеха, и для умиления

— важная социальная привилегия, и не дается кому попало. Сейчас этим правом завладел сторонник вина на пиве.

Все чувствуют, что в возникшей атмосфере взаимного подшучивания тот, на кого укажет победитель, обречен, а потому посматривают на него с выжидательными полуулыбками — и не без робости. Готовность смеяться начальственным шуткам — один из важнейших атрибутов почтительности. Повелитель смеха оглядывает потенциальные объекты коллективного осмеяния и милосердно выбирает нейтральный — обращается к играющему среди воробьев мальчуганчику в растянутых трикотажных трусиках:

— Юрик, ты чего трусы не подтягиваешь — у тебя же пуп на волю глядит!

Юрик с готовностью подтягивает трусики до упора, не замечая, что при этом показывается на волю до слез беззащитная, мелко гофрированная пипка. Все снисходительно хохочут — пацанчику досталось то умиление, которое робкий мужичонка пытался обратить на воробьев.

Доносятся заунывные звуки духового оркестра. Все принахмуриваются, но бойкая бабенка разряжает напряжение.

— Еще один жмурик в ящик сыграл, — с преувеличенно постным видом возглашает она, и все хохочут с облегчением и благодарностью: ну, чума, с ней не соскучишься (а в подтексте — не испугаешься: над кем смеемся — того не боимся, недаром в самые жуткие эпохи возникает столько игривых синонимов слова «расстрелять» — шлепнуть, шпокнуть, поставить к стенке, отправить в штаб Духонина, разменять на мелкую монету и т. д., и т. п.).

Виночерпий тянется под скамейку за очередной бутылкой — и извлекает бутылку с лаком. Взрыв чистосердечного, без всяких примесей и подтекстов хохота. И пусть у гробового входа…

Звучит примиряющий смех. Хотя для кого-то и кощунственный.

Так все-таки — примиряющий или кощунственный?

Найти общую формулу смешного, на первый взгляд, представляется делом почти немыслимым. На этот счет высказано столько противоположных суждений, что они больше говорят об авторах, чем о проблеме. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание, Чернышевский — чувство превосходства, Фрейд — подавленная агрессия, Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает от ужаса — а пистолет оказывается игрушечным. Все помирают со смеху, но один умник лишь пожимает плечами: ничего смешного,

глупость и только. Почему не всякий неосуществившийся прогноз и не всем кажется смешным, остается загадкой.

Шопенгауэр был убежден, что остроумие заключается в том, чтобы в совершенно ясных, на первый взгляд, словах найти совершенно неожиданный новый смысл. Например, фраза «здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им» вызывает у нас представление о каком-то поле битвы, и когда нам разъясняют, что это надпись на могиле врача, мы смеемся, торжествуя над рассудком, нашим вечным и неотступным надсмотрщиком, претендующим на то, чтобы все понимать и все выражать с исчерпывающей полнотой. Наименее интересный способ отыскания второго смысла — это буквализация метафоры: вы говорите о ком-то: «Он в этом деле собаку съел», — а остроумный собеседник поспешно интересуется: «А хвост оставил?» Впрочем, еще более плоский прием — вылавливание омонимов: «По улице неслась собака». — «Несутся только куры». Людей, излишне поглощенных подбором таких, более чем поверхностных, вторых смыслов, известный психиатр П. Б. Ганнушкин называл салонными дебилами — не в ругательном, а в научном, диагностирующем значении. И если исключить подобный (в больших дозах патологический) юмор, то можно сказать, что остроумие показывает нам недостаточность каждого описания, каждого суждения, оно напоминает нам, что мир гораздо богаче, чем это может выразить слово, — как мозаика не может в точности воспроизвести масляную живопись.

Бергсон развивает эту мысль еще дальше, доказывая, что юмор развенчивает не только стереотипное понимание той или иной фразы, но и всякую стереотипность, деятельность по неукоснительному плану, когда человек уподобляется автомату, выполняющему предписанное движение, не сообразуясь с особенностями обстоятельств, всегда индивидуальных и неповторимых. Наиболее отчетливо эта схема проступает в примитивном юморе: человек дважды достает из-под скамейки бутылку с водкой, а на третий та же самая операция вдруг приносит ему бутылку с лаком. Или, например, есть восточная басня о женщине, которая из стыдливости прикрыла лицо задранным подолом.

Более тонкий пример: если рядом с выразительно жестикулирующим оратором поставить другого, в точности повторяющего его движения, — патетическое превратится в комическое: мы убеждены, что свободная человеческая душа должна иметь неповторимые формы выражения. Смешной оказывается всякая предсказуемость, «серийность» (цель хорошей пародии — вскрыть «технологический прием»). Смех требует,

чтобы люди не были серийными изделиями: еще Паскаль отмечал, что два совершенно одинаковых лица, появляясь перед нами одновременно, производят комическое впечатление. Смешна и регламентация, вносимая человеком в живую природу: «Если факты говорят иное, тем хуже для фактов», «Перенесите солнечное затмение на более удобное время», «Раньше сердце было с левой стороны, но теперь мы это переменили». Неизменность физических законов, проступающая сквозь свободное парение человеческой души, тоже производит грубо комический эффект: человек, поскользнувшийся или чихнувший в патетический миг, у многих способен вызвать искренний хохот. Столь ненавистный Марине Цветаевой: «Когда человек падает, это НЕ СМЕШНО!» — на всю жизнь внушила она маленькой дочери, хохотавшей над неуклюжим клоуном.

Хороший карикатурист подчеркивает не какие попало физиономические особенности, но именно те, которые выглядят как проявления душевного настроя — *неизменные,* а потому чаще всего неуместные: неизменно кислое, изумленное или веселое *выражение лица,* которое, по нашему мнению, должно постоянно изменяться сообразно обстоятельствам.

Многие пародии создаются при помощи такого приема: стиль изложения механически переносится из одной сферы в другую, где он не принят, — языком боевых реляций или коммерческих сделок рассказывают о свадьбе, драке, похоронах. Родственный прием — распространение какой-то привычной метафоры на непривычную область: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» — привычно, «Советская власть — это коммунизм минус электрификация» — было довольно забавно, пока не затаскали, то есть не создали новую повторяемость.

Все подобные приемы могут создавать забавные эффекты лишь до тех пор, пока мы не почувствовали за серией острот их *серийности,* то есть тех самых повторяемости и предсказуемости, с которыми и борется юмор.

Легкой мишенью для острословов оказывается и обрядовая сторона всякого дела, выполняемая без видимой цели *по шаблону* — главному и, если верить Бергсону, чуть ли не единственному врагу всякого юмора (разумеется, речь идет об искреннем смехе, а не о его имитациях, используемых для демонстрации презрения — «Это просто смешно!», — почтения — «Хи-хи, какие вы забавники!» — и т. п.). У многих народов есть сказки о дураках, которые, действуя по заранее составленному плану, на свадьбе плачут, а на похоронах выражают пожелания типа: «Таскать вам не перетаскать». На этом же построены анекдоты о педантах: жена

дает мужу список поручений, а когда она падает в чан, он отказывается извлекать ее оттуда, ибо этого поручения нет в списке.

«Косное, застывшее, механическое в их противоположении гибкому, беспрерывно изменяющемуся, живому, рассеянность в противоположении вниманию, автоматизм в противоположении свободной воле, — вот в общем то, что подчеркивает и хочет исправить смех» (А. Бергсон). Поэтому и сильная страсть не терпит юмора, она желает быть абсолютом, и юмор, указывающий, что ни в чем не следует заходить слишком далеко, ничто не следует понимать слишком буквально, конечно, всегда бывает ей враждебен; не только Савонаролы, но и слишком чувствительные, сострадательные люди тоже часто бывают лишены чувства юмора — по крайней мере, в особо волнующей их сфере (но эти добряки хотя бы не опасны для шутников).

Смешна всякая серийность, смешно все, что решено «раз и навсегда». Юмор не позволяет слишком долго следовать никакому предписанию, а потому не дает слишком далеко заходить ни по пути порока, ни — увы! — по пути добродетели. Или не «увы»? Добродетель — это было любимое слово Робеспьера. Павел Васильевич Анненков отмечал, что в последние годы Гоголь утратил чувство юмора — регулятор, удерживающий от самоубийственных чрезмерностей. Бергсоновская догадка позволяет безо всякого фрейдизма объяснить, отчего излюбленными предметами расхожих шуток оказываются кишечно-половые отправления и действия правительства: любой запрет — а чем еще занимается правительство! — это и есть неотвратимый и неизменный регулирующий механизм (в сущности, и смерть — частный случай неотвратимости, порождающей так называемый черный юмор).

Точно так же, будучи зажатой принудительным благоговением, жизнь начинает ускользать на свободу при помощи кощунств, которые, не находя у людей особо совестливых ни малейшей отдушины, превращаются даже в неврозы, навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся «хульными»: а что, если сейчас дернуть священника за бороду?.. а что, если бы с народного кумира прямо на трибуне свалились штаны?.. В средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения — «праздники дураков»; участники этих праздников защищались такой апологией: «Все мы, люди, — плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось.

Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу». Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку — глупостью. Но не отказаться от нее.

Очень многие жаргонные выражения тоже стремятся соскрести с предметов сколько-нибудь возвышенную окраску. Вместо «возвышающих» названий социальных институтов, обязанностей и даже органов человеческого тела в таких случаях указывают на их наиболее «земные», элементарные функции или признаки: рот — «хлебало», нос — «нюхалка», «две дырочки», женщина — «соска», «давалка», гроб — «ящик».

Первые анекдоты о Владимире Ильиче Ленине тоже всего лишь помещали его в какую-то «земную» житейскую ситуацию: то он в длинных трусах делает зарядку — маленький, толстенький, приседает; то он игриво переговаривается через дверь с Надеждой Константиновной: «Это я, Вовка-морковка». Судя по беспокойному восторгу, с каким все, впервые приобщавшиеся к этому кощунству, начинали хохотать, вино мудрости и благоговения уже давно перебродило. Юмор, вот кто готовил перестройку…

В борьбе с любыми механизмами, пытающимися подчинить себе жизнь, она, жизнь, посредством юмора защищает свое право на неповторимость, на непредсказуемость, на умеренность и здравый смысл. Поэтому нетрудно предсказать, какие отношения с юмором окажутся у тех гениев, которые убеждены, что сама жизнь и есть несложный механизм; в основе — производительные силы, им соответствуют производственные отношения, те в свою очередь разбивают людей на классы с такими-то и такими-то свойствами и потребностями, борьба этих классов приводит к таким-то и таким-то последствиям… Марксизм можно назвать плодом неочеловеченного интеллекта, механически переходящего от незамысловатых предпосылок к незамысловатым выводам, ничуть не смущаясь их кошмарностью и… и *смехотворностью.* Основоположники если иногда и пошучивали (хотя и несмешно), то всегда над кем-то другим и никогда над собой: «Нужно прежде всего писать о противнике с презрением и насмешкой» (Ф. Энгельс).

И смешили их странные вещи. Энгельс о перевороте Наполеона III: «История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма… Не выдумаешь комедии лучше этой».

Ну а всемирный гений, доведший Учение до завершенности и не успевший перестроить жизнь по принципу единой фабрики только потому, что она предпочла вовсе исчезнуть, — смешливостью Ильича умилялись десятки мемуаристов и

режиссеров. «Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте», — вспоминает Надежда Константиновна. Но о причинах такого смеха очень многие воспоминатели роковым образом умалчивают — видимо, считают делом второстепенным, *над чем* человек смеется, главное — *как* (вопреки собственным принципам, отдают *форме* предпочтение над *содержанием)*. Но драгоценные крупицы все же просверкивают: Ильич, хохочущий над простаками, надеющимися построить социализм без расстрелов; Ильич, с веселым смехом истребляющий беспомощных зайцев во время наводнения (некий Антимазай)… Другие эпизоды едва-едва тянут на недоуменную усмешку.

Но это и не важно — «нужно прежде всего писать о *противнике* с презрением и насмешкой», всегда о ком-то, но не о себе: «Копанье и мучительный самоанализ в душе ненавидел» (Н. К. Крупская). Юмор — разящее оружие, и какой же большевик станет обращать его против себя! Посмотрим же, во что превратилось это оружие к венцу героической эпохи — к 1953 году. Зачерпнем из самого густого источника — из журнала «Крокодил».

Номер первый. Бюрократ отправляет теплую одежду на Юг, а легкую на Север — «изошутка» с комментарием: «Этому холодно, этому жарко, потому что этому ни холодно, ни жарко». Другой бюрократ старается прибить повыше плакат с надписью «Выше качество продукции», а гвозди (продукция) гнутся. Осмеяние абстрактной живописи: «Дядя Сэм рисует сам» — «Ясно, что ничего не ясно». Течет крыша в телятнике: «Водой телята уже обеспечены». Два буржуазных политикана: «Почему наш кабинет министров так часто падает?» — «Народ не поддерживает». В помещении хорового кружка устроили птичник: «Пустили петуха». (Кстати, похоже на сегодняшних кавээнщиков.)

Номер второй. Американские империалисты-палачи с топорами. Сельхозучилище: «Пора начинать сев, а учащиеся отсеялись». Мебельная фабрика, на стул с размаху ставят штамп «Первый сорт», а стул от удара разваливается. Комедия демократии, дядя Сэм с козлиной бородкой: «Ваш парламент распустился? Смотрите, как бы я его не распустил». А это уже почти Лесков: «Моралисты замарали помещение».

Номер третий. Врачи-отравители берут у своих хозяев указания и фунты стерлингов (древний каламбур «Шел дождь и два студента»), на обложке «изошутка»: мужественная рука с твердым ногтем на большом пальце, как пакостливого котенка, извлекает на свет убийцу в белом халате, с которого сваливается маска доброго доктора Айболита, открывая крючконосую, бровастую харю в темных очках. (После закрытия «дела» через

несколько месяцев обратной изошутки — мужественная рука возвращает маску Айболита в прежнее положение — не последовало.) Некто пересел «из кресла на скамью» — подсудимых. У империалистов «железнодорожная катастрофа» — русские передали Китаю железную дорогу.

Номера четыре, пять, шесть. Ротозей вешает плакат, призывающий к бдительности, а у самого жаба-шпион похищает из кармана секретную документацию. «Я нетерпимо отношусь к критике? Вы за это поплатитесь!» Выборы в Советы, баллотируется «дважды кандидат» — в депутаты и сельскохозяйственных наук. «Этот лектор ничего, кроме своих лекций, не читает». Еще одно самоотрицающее действие: в рабочее время проводят собрание о повышении трудовой дисциплины. Николай Грибачев, сочинение «Ощипанный „Джойнт“»: «Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых — Гудзон». Стахановская изошутка: «Ключ к сердцу любимой» — гаечный. В Голливуде идет съемка… отпечатков пальцев.

Номер седьмой, исторический — даже любопытно: как же, оставаясь юмористами, можно откликнуться на смерть Вождя? На обложке бесконечные алые разливы, знамена, бесконечно дробящиеся, как у Филонова, трудовые лица, на первом плане дважды Герой, войны и труда, с простым лицом (простота — важнейший признак положительности) вздымает над головой алый том: «И. В. Сталин». На внутренней стороне обложки — уменьшенная фотокопия первой страницы «Правды»: «От Центрального комитета… Бессмертное имя…» Первая «крокодильская» страница: «Еще теснее…» и — простой солдат с юмористической курносинкой, на груди бинокль и автомат, задний план — алые домны. Затем грандиозное панно под торжественными трубами алых громкоговорителей. Благородно отчетливым шрифтом: «Враги Советского государства рассчитывают…» — и подпись: Л. Берия; от Л. Берии — широченная алая стрела, заполненная «нерушимыми сплоченностями», «единениями» и т. п., бьющая в самый низ страницы, где сидят в луже империалисты с листочками в когтистых лапках; на листочках надписи: «расчет на растерянность», «расчет на разброд».

Никакого разброда — в том же номере продолжается борьба: «Укрепим братскую дружбу с китайским народом», для чего и продолжает каленой метлой выжигаться-выметаться всякая плесень. Изошутка: спортивный руководитель «поскользнулся на катке, а вынырнул в бассейне». Алексей Максимович Горький призывает: закончив Литературный институт, не забывайте и мои

университеты. Волк в овечьей шкуре похищает секретные бумаги из-под носа благодушного ротозея, глядящего на волка сквозь *розовые очки* — снова буквализация метафоры. Она продолжает царствовать вместе с игрой на двойных значениях слов: «Александр Николаевич начал с Малого и сделался великим» — написано на памятнике драматургу Островскому у Малого театра; тайные мысли бюрократа: «Только бы открыть горсад, а там хоть трава не расти»; подхалим на качелях закрывает глаза, чтобы не посмотреть на начальника *свысока.*

Вы еще в силах выдержать? Вспомнили любимые приемы салонных дебилов? Империалистам для памяти «зарубили на носу» — нарисован штык, «завязали узелок» — петля, а они все забывают уроки истории! «Колонны для здания новой Европы» — танковые колонны, «В магазинах большой выбор, а иностранные корреспонденты снабжают нас утками», «Единственный капитал, которого они боятся, это „Капитал“ Маркса», «Так кричали перед выборами, что потеряли голоса избирателей»…

Переведите дух, а потом можете начать самостоятельную работу: возьмите любую идиому, приложите ее к негативным сторонам советской действительности — и вы законченный сотрудник «Крокодила». «Никаких гвоздей» — это пойдет на стройку, «заговаривать зубы» — в стоматологическую поликлинику, «дальше ехать некуда» — в Дорстрой, «не вырубишь топором» — на лесозаготовки. Изредка отдыхайте на такой утонченной роскоши, как самоотрицающее действие: «Давайте поговорим о том, что мы слишком много говорим».

Вот во что превращается юмор, сделавшийся разящим оружием в чьей угодно руке. Преследователь всякой повторяемости и предсказуемости, он создает собственную жалчайшую повторяемость и предсказуемость. Разумеется, унылое однообразие свойственно всем юмористическим журналам и «Уголкам юмора», равно как и специализированным острякам, взявшим за правило из океана возможных человеческих реакций держаться одной — юмористической. Но главная безнадежность даже не в этом. Самое главное — юмор, этот враг всех и всяческих предписаний, не может быть предписанным. Плоским, вульгарным — сколько угодно, предписанный юмор — это круглый треугольник, это самоотрицающее действие, это подтянутые трусики, открывшие срам. Если *заранее* известно, кто и за что должен быть осмеян — бюрократ-хапуга («Касьян Жучков возглавлял контору Главсметана…») или мышь-космополитка («А сало русское едят…»), то главная функция юмора уничтожается на корню. А что же остается? Да «Крокодиловы» каламбуры: «Половину плана выполнили на 100 %», «Этот дом как будто

никогда не ремонтировали. — Да, он только что построен».

И неловко, и грустно видеть такое поругание человеческого остроумия…

Но юмор обречен на эту убогую роль при подчинении его любому Абсолюту. Ибо каждая абсолютная истина претендует оставаться неизменной всегда и всюду, а юмор именно против этого и восстает.

Когда исламский мир поднялся на дыбы из-за ординарных, на европейский взгляд, карикатур на пророка Мухаммеда, куда же девалась та примиряющая роль юмора, в которую когда-то верил Гоголь? Юмор способен разрядить конфликт святынь, когда каждая сторона конфликта соглашается посмеяться *над своей* святыней, то есть деабсолютизировать ее. Но если хотя бы одна из сторон дорожит своей святыней именно как абсолютной, а не относительной ценностью, смех может лишь подлить бензина в костер вражды. Ощущаясь не как примирительный, но несомненно как кощунственный.

И не нужно наивных или лукавых оправданий: мы-де шутили уважительно, любовно, наш смех не разрушительный, но созидательный — смех созидательным не бывает. Смех и Абсолют несовместимы.

И юмор, и пафос помогают нам примириться с несчастьями — при этом враждуя друг с другом. Снова трагический конфликт: враждует не добро со злом, а добро с добром. Два главных помощника человека в его вечной борьбе со своим главным врагом — страхом. Юмор тоже мощнейшее средство экзистенциальной защиты, средство принизить тех, кто покушается на нашу свободу воли и свободу мысли, которые мы отчетливо, хотя скорее всего тоже иллюзорно в себе ощущаем. Однако за столь драгоценную иллюзию мы готовы восстать не только на религию и власть, но и на родного отца! А уж на такие неодолимые стихии, как болезни, старость, смерть — тысячекратно. Не победим, так хоть потешимся.

Но чего не может обеспечить юмор — иллюзии нашего величия и бессмертия. Ибо возвеличивать он не умеет, он умеет только снижать. И потому в ситуациях по-настоящему трагических он становится кощунственным, а, значит, бесполезным. Зато красоте все по плечу.

Убийство скепсиса

Стоит хорошенько вглядеться и вдуматься, как станет ясно, что экзистенциальный страх смерти, тяжкой болезни, увечья, утраты любимого человека способен в один миг отравить и обесценить все наши социальные достижения. А потому практически все социальные вопросы занимаются не более чем проблемами комфорта, тогда как вопросы экзистенциальные суть воистину вопросы жизни и смерти. Что и заставило меня прийти к тому принципу, на который я далее буду постоянно опираться в своем социальном анализе: *экзистенциальные проблемы важнее, чем социально-экономические.*

И более того: социальные проблемы очень часто являются всего лишь масками экзистенциальных. Нам кажется, что люди борются за деньги, почести, территории, ресурсы, но на самом деле они стараются преодолеть ужас экзистенциальной ничтожности. Ибо социальные унижения ранят нас так глубоко только потому, что наша униженность в социуме открывает нам глаза на нашу униженность в мироздании.

Но нашу мимолетность и мизерность в космосе одолеть в мире реальностей совершенно невозможно — остается бороться с нею в мире фантазий, иллюзий, грез. В борьбе с экзистенциальным ужасом люди от начала времен творили сказки, мифы, религиозные и метафизические системы, и чем более явно те обнаруживали свое бессилие, тем более страстно и самоотверженно разочарованный мир старался найти утешение в грезах социальных, позволяющих вновь ощутить себя красивым и значительным, выводя эти грезы то под маской философии, то под маской науки.

Грезы, маскирующиеся под науку, в сегодняшнем мире особенно респектабельны: ведь наука опирается не на предвзятости, а на факты, не на эмоции, а на логику, и потому может претендовать на объективность. Или уж, в крайнем случае, на максимально возможное приближение к истине.

Что ж, дело хорошее. Давайте только задумаемся, что такое истина, что мы имеем в виду, когда говорим, что ищем или нашли эту самую истину? Ведь в наивном быту, где мы обретаем первичные представления о том, что правильно и что неправильно, всегда можно установить, кто самый сильный и кто самый быстрый, какая дорога до магазина самая короткая и где провел время данный конкретный Петька — в школе или в кинотеатре, — и так далее, и так далее. А если после этого ты имел счастье или несчастье специализироваться в точных науках,

где все базируется на наблюдениях и логических выкладках, против которых не может восстать ни один жулик или упрямец, то понемногу ты просто перестанешь понимать, почему такой же неотразимостью не обладают социальные истины.

И почему их нельзя обсуждать спокойно, почему в вековых дискуссиях на самые что ни на есть канонические темы идеалисты и материалисты, индивидуалисты и коллективисты, модернизаторы и консерваторы, авторитаристы и либералы не просто раздражают, но порой доходят прямо-таки до ненависти друг к другу, до обвинений в глупости и нечестности, хотя времени убедить или опровергнуть друг друга фактами и логикой у них, казалось бы, было предостаточно. И все-таки фактов и логики им никак недостает. И никогда не достанет. Они никогда не убедят друг друга и с мест своих не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд.

Но почему? Ведь вроде бы все эти социально-политические проблемы — мера либерализма и авторитарности, мера новаторства и консерватизма, мера централизации и децентрализации, мера индивидуализма и коллективизма — уж по крайней мере не сложнее проблем той же квантовой механики или популяционной генетики, — и все-таки люди примерно одного интеллектуального уровня, примерно одной культуры и даже преследующие родственные цели веками не могут прийти к согласию в самых основополагающих вопросах — в естественных и точных науках такая смута возникает лишь в относительно краткие периоды революционного обновления парадигм…

Так, может быть, дело не в сверхсложности социальных проблем, а в неустранимых изъянах нашего мышления?

Но как-то же их, эти изъяны, преодолевают в точных науках? Увы, если приглядеться, и в точных науках делают это так же, как и везде, — закрывают на них глаза и изгоняют несогласных, только осуществляя это неизмеримо более тонко и завуалированно. Ведь именно точные науки привели меня к убеждению, что человек существо не разумное, а фантазирующее, живущее иллюзиями, грезами, сказками… Отчасти личными, но больше коллективными, без которых не способна сохранить долговечность ни одна социальная корпорация. И я в безмятежном детстве тоже жил всеми положенными советскими сказками, играл в футбол, в войну, а математику и физику воспринимал как неизбежное зло. Но вот в начале шестидесятых меня захватила новая химера: самые важные и восхитительные люди в мире — это как раз они, физики, математики. Как положено, сказка породила и реальные успехи, пошли победы на олимпиадах, — физика, впрочем (анализ реальности), шла

гораздо лучше. Но однажды наш главный кустанайский эксперт по математическим дарованиям, преподаватель пединститута Ким, совершенно чудный человек, как все провинциальные математики, прочел мою работу и объявил, что такой логики он еще не видел и что мне нужно идти не в физики, а в математики. Математические боги выше физических.

Так новая сказка и привела меня на ленинградский матмех. И первое, что меня там поразило: то, что у нас в Кустанае считалось доказательством, здесь в лучшем случае годилось в «наводящие соображения», в которых небожители сразу находили пятьдесят недоказанных мест. Дошло до того, что на коллоквиуме никто не мог доказать эквивалентность определений предела, если не ошибаюсь, по Гейне и по Коши, — профессор каждый раз обнаруживал незамеченные дырки. И я решил: кровь из носу, а докажу. Сидел, наверно, час, вдумывался, что означает каждое слово, постарался предвидеть все вопросы и на все заранее ответить и наконец напросился отвечать. Мэтр выслушал и сказал, что да, можно поставить пятерку, — только вы в таком-то месте начали доказывать лишнее положение, все уже и без того было ясно.

И я ушел в совершенной растерянности: то все время было слишком мало доказательств, а теперь вдруг стало слишком много… Так где же нужно остановиться, что же тогда такое *настоящее* доказательство?.. Можно ли найти какой-то неделимый кирпичик знания, по отношению к которому уже нельзя было бы задать вопрос: а это почему? Этакий логический атом, истинность которого была бы самоочевидна? Самоочевидна всем — гениям, слабоумным, дикарям в травяных юбочках… Они ведь тоже как-то мыслят, приходят к собственным умозаключениям, спорят, переубеждаются или остаются уверенными в своей правоте… Так каковы же настоящие, окончательные, *объективные* законы мышления, которые позволяли бы приходить к *неоспоримой* истине?

Ответа я так и не нашел.

Потом мне пришлось работать на факультете прикладной математики, куда постоянно приходили какие-то главные теоретики разных технических отраслей. И каждый приносил какую-нибудь свою теорию, а их на семинаре начинали рвать на части: и это не доказано, и то не обосновано, — а это были доктора технических наук, классики местного значения… Зато когда математик-прикладник обращался к каким-нибудь топологам или алгебраистам, они его точно так же начинали рвать на части. И я пришел, в конце концов, к выводу, что доказательство — это всего-навсего то, что принято считать

доказательством в данной школе. То есть, попросту говоря, что́ некая авторитетная группа назовет доказательством, то и есть доказательство. А найти самые первые, для всех самоочевидные основания всех оснований невозможно. Даже математика основана неизвестно на чем, на чем-то таком, что всеми в данной школе интуитивно принимается, но как только мы спрашиваем, на чем это основано, то сразу же обнаруживается, что ответа нет. Или мы приходим к соглашению автоматически — или не приходим вовсе.

Однако до этого вывода я добрался не скоро — только после того, как начал писать философскую прозу. Разбирая пресловутые вечные вопросы: «Что такое красота?», «Что такое добро?», «Что такое справедливость?» — те вопросы, которые ставит перед собой каждый человек, желающий хоть как-то примириться с ужасами бытия, с неуверенностью в своей правоте. И в этом процессе поневоле время от времени приходилось выходить на философские диалоги — у героя появляется оппонент, ничуть не менее умный, и говорит ему что-то совершенно поперек. Тогда герой возражает еще более умно, а тот еще умнее, и так далее, и так далее, покуда наконец они не придут к окончательной истине. Но обнаружилось, что споры эти оборвать невозможно. Спорить можно без конца.

Тогда-то я и понял, что никого нельзя убедить, отыскав какой-то последний аргумент: таковых не существует, — убедить может только некий образ, который вызывает душевное потрясение и этим убивает желание возражать. Логическая возможность спорить остается всегда, но желание исчезает.

Доказанных же утверждений просто не бывает, бывают лишь психологически убедительные. Так обстоит даже в математике. Только там это разглядеть очень трудно под огромным слоем рациональных конструкций. В философии это гораздо очевиднее, а в литературе совсем очевидно: никакого доказательства нет, а есть психологическое внушение посредством зачаровывающего образа.

И, следовательно, истина — это любая коллективная сказка, коллективная греза, которая нас настолько зачаровывает, что убивает желание с нею спорить. Убивает скепсис.

Истина есть то, что убивает скепсис, — таков мой итог.

В науке, правда, слой измеряемого, логически выводимого настолько огромен, что возникает иллюзия, будто там ничего другого и нет. И все-таки в основе основ любая математика, любая физика, любая точная наука погружена в незамечаемый нами воображаемый контекст, систему базисных предвзятостей, большей частью неосознанных, внутри которой все эти

доказательства только и действенны. Попросту говоря, любой факт допускает множественные интерпретации даже в самых точных науках в зависимости от базисного контекста.

Базисом науки является некая воображаемая картина мира, воображаемый контекст, который увидеть так же трудно, как собственные глаза, потому что мы посредством него и смотрим на мир. И лишь внутри него аргументы науки остаются убедительными. А сам воображаемый контекст точных наук — он точно так же создается внушением, как и в искусстве, его уже не обосновывают — им зачаровывают.

В учебниках дело обычно излагается так, что существовала-де некая стройная теория, затем обнаружился новый факт, который она не могла объяснить, затем появился какой-то новый гений, он объяснил этот новый факт, и возникла новая теория, или даже, пышно выражаясь, новая парадигма. Однако на самом деле все происходит совершенно иначе. Действительно, появляется какой-то новый необъяснимый факт. Допустим, все уже давно знают, что свет — это волна, он обладает всеми волновыми свойствами: интерференция, дифракция, мешает только одно неприятное явление — фотоэффект: свет выбивает электроны из металлов, а волна по разным причинам этого делать не может, по крайней мере, таким образом. И вот является Эйнштейн и заявляет, что свет — это частица, квант. Тогда необъясненное явление, фотоэффект, действительно становится объясненным, но зато становится непонятным все остальное, все волновые свойства света. Образно говоря, новая парадигма очень часто затыкает одну дыру, но при этом уничтожает все судно. И, разумеется, ответственные люди призывают подождать: не стоит разрушать вековую конструкцию ради одного факта — может быть, он еще найдет объяснение. Однако эта новая идея настолько восхищает своей красотой, молодежь настолько очаровывается надеждой стать рядом с классиками, рядом с Герцем, Максвеллом, что она набрасывается именно на новую идею, вместо того чтобы спасать старую, и за несколько иногда десятилетий доводит ее до гениального уровня. И она уже через двадцать-тридцать лет действительно становится лучше, чем старая.

Но ведь все эти годы сторонники новой парадигмы работают на мечту, на грезу… Как и на социализм долго работали не ради его реальных достоинств, а ради пробужденных им надежд. Так бывает и в науке: несмотря ни на какие опровергающие факты, ученые будут держаться за гипотезу, пока она их очаровывает. Опровергающих фактов никогда не бывает достаточно для окончательного решения ни в ту, ни в другую сторону. За некрасивое никто не вступится, а красивое будет воскресать все

вновь и вновь. Красивое — то есть соответствующее какой-то нашей тайной или явной мечте.

Поппер, правда, настаивал на том, что хотя доказать научную гипотезу действительно невозможно, но можно все-таки ее опровергнуть. Однако и это не так. Нет никакой возможности отличить опровергающий эксперимент от проблемы, которую предстоит разрешить, — эта граница проводится совершенно произвольно в зависимости от того, адвокатскую или прокурорскую позицию мы займем по отношению к оцениваемой теории, и у красивой гипотезы, равно как у красивой женщины, адвокаты всегда найдутся. Зато низвергнутому диктатору на следующий же день припомнят все, на что прежде десятилетиями закрывали глаза…

Как искусство, как литература стремятся очаровать, внушить, — так же поступает и наука, и особенно философия. Философия прежде всего создает тот воображаемый контекст, внутри которого обретает смысл все остальное. Однако обосновать сам себя этот контекст не может. Иначе говоря, философия — это особая разновидность искусства, которое под маской рациональности занимается тем же, чем занимается обычное искусство, — внушением, зачаровыванием.

Рациональности вообще нет, есть только ее маска. Но бывают маски совершенно прозрачные, как в быту или в политике, где сразу видно, ради чего ведется подтасовка, а бывают почти непроглядные, как в науке, сквозь которую почти не разглядеть зерно иррациональности, ни на чем не основанного произвольного выбора (глубже всего оно упрятано в математике). И все-таки даже научное мышление есть не что иное, как подтасовка. Еще в своей первой повести «Весы для добра» я написал: спускаясь от «почему?» к «почему?», в конце концов останавливаешься на «я так хочу!», в основе всего лежит именно она, ничем не обоснованная воля. Не обоснованная, а только порожденная каким-то воображаемым и чаще всего неосознанным контекстом. Который и сам всегда выстраивается в том числе и ради психологической защиты.

Некоторые формы иррациональности — внушение, к примеру, — существуют цинично и открыто, как в искусстве. Мы и не говорим читателю, что это правда, — то, о чем мы пишем, — мы открыто соблазняем, очаровываем его нашими образами, то есть тешим какие-то его мечты и надежды. Философия это делает более завуалировано, наука совсем завуалировано, но всюду в основе всего лежит искусство. И действенной философией становится только та, которая очаровывает тайной, чудом, авторитетом, красотой. Способ убеждения существует один —

внушение, очаровывание. Та, которая возводит нужду в добродетель, придает желательному иллюзорный смысл, а неизбежному иллюзорную красоту.

Недаром столько человеческого гения брошено на то, чтобы украсить самого страшного нашего врага — смерть. Пышные надгробия, мощные реквиемы, гениальные стихи, напыщенные выражения типа «Они ушли в бессмертие», проникающие даже в казенные речи…

Истина — это греза. Настолько мощная, что убивает скепсис. Убийство скепсиса — вот тайная цель всех грез. Когда-то в романе «Горбатые атланты» я написал, что главная цель человечества — бегство от сомнений. Поэтому грезы по отношению друг к другу занимают очень агрессивную позицию, все они стараются друг друга истребить, дискредитировать, внушить, что все прежние теории — это была чушь, а вот теперь мы, наконец, постигли самую истинную истину, отыскали по-настоящему объективные законы мышления… Ведь пока греза не убьет скепсис, от нее почти нет никакой пользы, она не доставляет вожделенного покоя. Поэтому, если она будет вести себя скромно и говорить: «У каждого своя правда, я несу лишь частицу истины», — она не будет выполнять ту функцию, ради которой и создавалась, не позволит обрести одну из важнейших жизненных опор — чувство неколебимой правоты.

Я думаю, что всякое убеждение и вообще любая по-настоящему глубокая идея могут быть обоснованы только при помощи себя самих. И утверждают они себя тем, что убивают своих соперниц, — не опровергают их, что невозможно, но стараются лишить обаяния. Как это делается на любой коммунальной кухне, только неизмеримо более изысканно.

Ибо именно в монополии их ценность. Но вот каким образом они обновляются? Конечно, удобнее всего новую грезу выращивать из старых, делать вид, что мы не отменяем старое, а, наоборот, укрепляем его еще тверже. Что, скажем, пролетарская диктатура — это и есть настоящая свобода. А гонка вооружений — это безопасность. А отсутствие частной собственности — истинное богатство. Лучше всего не отвергать, но реинтерпретировать старое. Возможно даже, что новую грезу создать просто-напросто нельзя, а все они лишь трансформации относительно небольшого числа архетипических мечтаний, порожденных вечным стремлением человека ощущать себя красивым, сильным, значительным и бессмертным.

И если бы наши либеральные идеологи были озабочены практическими результатами своей пропаганды больше, чем красотой собственного облика, то они бы давно перестали

впустую дразнить молчаливое большинство, для которого все еще эмоционально значимы коммунистическая, национальная, государственническая мечта, обвиняя его в пресмыкательстве и шовинизме, но, напротив, убеждали бы, что именно они, либералы, истинные патриоты, истинные государственники… Ибо каждая порядочная сказка абсолютно герметична и для рациональной, и для этической критики: все, что работает на ее укрепление, она называет добром, а все, что работает на ее разрушение, злом. Она же сама и разбирает поданные на нее жалобы, с каждым разом лишь сильнее укрепляясь в убеждении, что на стороне ее врагов нет ни крупицы правды, — так всегда бывает, когда заинтересованное лицо одновременно выполняет функции следователя, судьи и палача.

Собственно, все вышеизложенное можно назвать гносеологической версией теории относительности. Теория относительности провозгласила, что не существует никаких экспериментов, которые позволили бы отличить движущиеся системы координат от неподвижных. Точно так же не существует никаких методов, которые позволяют отличить ложную, аморальную, безобразную грезу от истинной, высоконравственной и прекрасной. Ибо сама греза создает и формы эксперимента, и критерии их оценивания, и она всегда создает именно такие критерии и эксперименты, которые работают на ее подтверждение.

И ничего поделать с этим нельзя. Всякая иллюзия может быть нехороша только в рамках другой, соседней иллюзии. Все критерии оценивания и методы опровержения каждой сказкой разработаны под себя. Судно утонуло потому, что экипаж рассердил злых духов, — это мнение так же неопровержимо, как и то, что оно утонуло из-за неправильной прокладки курса. Обычно возражают, что те культуры, которые руководствуются законом материальной причинности, устраивают для себя более комфортабельную жизнь, но этот аргумент убеждает не логикой, а подкупом. Соблазном. И те, кто не поддаются материальному соблазну, а продолжают держаться за иллюзии, дарующие им цель и смысл жизни, поступают ничуть не глупее тех, кто отказывается от них ради физического комфорта. По крайней мере, статистика самоубийств наводит на мысль, что их рост связан прежде всего с упадком воодушевляющих коллективных иллюзий.

Но если иллюзия всё, часто спрашивают меня, то что в таком случае я называю реальностью? Я называю реальностью любую воображаемую картину мира, по отношению к которой скепсис уже убит или еще не успел родиться. Буддист считает самым

главным мороком именно то, что позитивист считает наиболее достоверной реальностью. И лично я воспитан социальной группой, в наибольшей степени убившей во мне скепсис по отношению к тем суждениям, которые порождаются наукой, если понимать под ней, во-первых, стиль мышления, а во-вторых, социальный институт. Именно они образуют ту систему базовых предвзятостей, ту систему отсчета, из которой я наблюдаю мир.

Понятие «реальность» в моей парадигме играет примерно ту же роль, что и понятие «неподвижность» в теории относительности. Размышление начинается с наивного представления, что предметы явственно делятся на абсолютно неподвижные и абсолютно движущиеся. А после того как приходят к выводу, что абсолютного движения и абсолютного покоя не существует, что все зависит от системы отсчета, — тогда слово «покой» остается для бытового языка и для тех ситуаций, когда без слов ясно, о какой системе отсчета идет речь.

Но как же так, негодует наивный физик, вот стол — разумеется, это реальность, ведь я могу его пощупать! Я и сам однажды во сне усомнился: а вдруг это сон?.. И потрогал именно стол — он был такой твердый, что это ощущение до сих пор остается у меня в пальцах. А раненый не может заснуть от боли в ампутированной ноге. А каждый из нас своими глазами видит вспышку света, когда его ударят по глазу. А шизофреник своими ушами слышит «голоса». А Бехтерев написал целый том, посвященный коллективным галлюцинациям. А…

Но не будем заходить так далеко, вернемся к самой что ни на есть институционализированной науке.

Конечно, цель науки — создать истинную модель мира. И эта модель строится по тем же законам, что и панорамы в музеях военной истории: на первом плане бревно, настоящее бревно, его можно потрогать; чуть подальше картонный танк, до него уже не дотянешься, но бревно было настоящее, а потому и танк кажется настоящим. А еще дальше вообще идет полная живопись — какие-то холмы, леса, дым, фигурки солдат…

Так и наука: начинает она со знакомых каждому бытовых предметов, которые и составляют арсенал первичных аналогий: камешки, волны на воде, облака… А когда дело доходит до предметов, которых никто не видел и никогда не увидит — до каких-нибудь атомов, электронов, — их тоже начинают моделировать по образу и подобию камешков, волн, облаков… Может, и вся физика вырастает из какой-нибудь четверки-пятерки базовых образов: камень, ветер, волна, огонь, облако — не обладая ими, наш мозг вообще не мог бы мыслить… (Это к вопросу, может ли машина мыслить: мыслить не мог бы даже наш

мозг, лишенный тела.) И не нужно думать, что кто-то видел атомы или электроны благодаря каким-то хитроумным приборам, — ученые видят лишь некоторую картинку и *теоретически* домысливают причину, которая могла бы такую картинку породить.

Кстати говоря, а как мы вообще начинаем видеть реальность? Каким образом мы начинаем различать предметы? Из хаоса, из огромного скопления каких-то мух, комаров, пыли мы все-таки выделяем что-то самое важное. Рядом с нами происходят миллионы событий, а мы замечаем лишь десятки. И только уже среди этих десятков, бессознательно отобрав их из миллионов им подобных, мы работаем — классифицируем, размышляем…

В журнале «Наука и жизнь» когда-то любили печатать очень интересные загадочные картинки. Смотришь — набор хаотических разноцветных пятен — и все-таки требуется найти там какую-то надпись. Ты эту картинку вертишь, крутишь — ничего нет, хаос. Но потом вдруг обнаруживаешь, что желтенькие пятнышки складываются в букву «с». Тогда к букве «с» начинаешь еще что-то пристраивать, и постепенно выстраиваешь вторую букву «с», и так лепишь, лепишь, лепишь, и наконец выступает надпись «Слава КПСС». И после того как ты ее увидел, эту надпись, ты уже больше не можешь ее не видеть, она сама бьет в глаза. Так я и пришел к выводу, что мы видим лишь то, что ищем, о чем заранее знаем. Ведь если бы мы не умели читать, не знали букв, то мы бы никогда эту надпись и не выделили из хаоса. Только предвзятое представление о мире, та воображаемая картина мира, в которой мы априорно пребываем, заставляет нас сортировать, выискивать, группировать…

Словом, работать на ее подтверждение.

Но как же практические успехи науки?!.

Они огромны и восхитительны. Но на каком основании именно материальный успех следует считать критерием истины? Не считаем же мы Романа Абрамовича самым умным человеком в сегодняшней России? Избрав в качестве критерия истины практические достижения, наука выбрала именно тот критерий, с точки зрения которого она и есть самая правильная: все критерии каждой социальной группой создаются «под себя». Так поступает каждая греза — каждая из них объявляет себя самой-самой: я самая древняя, я самая красивая, я самая утешительная, я самая общедоступная, я самая высокая, я самая общепримиряющая…

Внутри своей базисной грезы мы заключены целиком и полностью. И пока она нами владеет, до тех пор мы счастливы, уверены в себе и свысока поглядываем на других, убежденные, что мы умные, а они дураки. Мне очень помогло понять

человеческую природу общение с душевнобольными, с умственно отсталыми… Нормальные люди, видя, что параноик не может отнестись критически к своему бреду, что умственно отсталый не может понять, почему дважды два будет четыре, обычно так и считают: они сумасшедшие, а я нормальный, они глупые, а я умный. А я наоборот вижу, что мы такие же, как и они, только мы живем внутри коллективного бреда, нелепость которого сделается очевидной лишь через пять-десять лет, и достигшими вершины разума кажемся себе исключительно потому, что по случайности еще не нашли никого умнее себя. А может быть, даже и нашли, да только этого не поняли, как и умственно отсталые не понимают нашего интеллектуального превосходства.

Так я и пришел к ответу на простенький вопрос «Что есть истина?» — *истина неотделима от механизма ее формирования.* Что выпускает колбасная фабрика, то и есть колбаса, что порождает наш мозг — то и есть истина. Данной минуты и данного мозга. Пока в нем снова не проснется скепсис. Нет объективных законов мышления — есть физиология деятельности мозга, настроенного доминирующей культурой, системой доминирующих предвзятостей данной социальной группы. И все, что она называет законами мышления, есть не более чем ее идеализированное самоописание. Мозг не может сформулировать некие окончательно правильные законы мышления, как диктатор не может издать закон, который сам не мог бы преступить. Ибо воля диктатора и есть закон, а решение мозга, в чем бы оно ни заключалось, и есть истина. И в итоге истина есть функция базисной грезы.

Вот теперь мы и приблизились к ответу на вопрос, почему в самых элементарных социально-политических вопросах люди приблизительно равного интеллекта и более или менее сходной культуры веками не могут прийти не то что к полному согласию, но хотя бы не к прямо противоположным убеждениям, неизбежно порождающим сначала подозрение в недобросовестности, а затем презрение и ненависть. Причина этого заключается в том, что *в естественных науках модели выбираются из соображений их практической эффективности, а при выборе моделей социально-политических люди пытаются решить сразу две взаимоисключающие задачи: добиться практической эффективности и выстроить психологически приемлемую воображаемую картину мира.* Тогда как наука, все поставившая на практическую эффективность, выстраивает картину мира, ужасающую каждого человека со сколько-нибудь развитым воображением. Наука рисует нас случайным, мимолетным, микроскопическим и беспомощным скоплением молекул в

бесконечно огромном, бесконечно могущественном и бесконечно равнодушном космосе: прогностическая точность несовместима с утешительностью.

И с тех пор как пришли в упадок религиозные химеры, люди начали искать утешения в химерах социальных. И ненавидеть тех, кто у них это утешение отнимает. Отсюда и проистекает немыслимый в естественнонаучных дискуссиях эмоциональный накал: на карте стоит не какая-то там прогностическая достоверность, а именно личное счастье.

Цивилизованное человечество в принципе давно разделило эти функции, познание и утешение, поиски практической эффективности предоставив науке, а функции утешительные передав религии, социальному прожектерству, искусству (перечислены по степени убывания чарующей силы), и лишь в социально-политических науках все еще царит первобытный синкретизм. Мне кажется, секуляризация хотя бы той же экономической науки значительно уменьшила бы противостояние различных школ, а может быть, даже уменьшила их число.

Невозможно получать утешение и прогностическую точность в одном флаконе и в полном объеме — вероятно, для создания синтетической идеологии имеет смысл поискать чего-то компромиссного, пожертвовав частью утешительности в пользу точности и частью точности в пользу утешительности.

Но ведь каждая разновидность утешительности утешает лишь до тех пор, пока остается монополистической?.. Да, но обрести монополию способна и компромиссная греза. Ведь в каких-то социальных группах возникает же все-таки согласие относительно того, какая социально-политическая модель является наилучшей, сходятся же как-то славянофилы со славянофилами, западники с западниками, либералы с либералами, дирижисты с дирижистами, — вдумаемся, на чем же основано их согласие?

Я думаю, как наука вырастает на базе каких-то элементарных физических впечатлений, так и политические убеждения вырастают из неизмеримо более элементарных и лично пережитых образов, которые и выполняют функции первичных аналогий. Скажем, представление о нации вырастает из образа семьи — недаром и поныне самые пафосные пропагандистские образы националистов отсылают к семейным святыням: родина-мать, отечество, убивают наших братьев, бесчестят наших сестер… И если когда-нибудь семья из святыни превратится в утилитарную ячейку общества, тогда утратят обаяние и эти образы, и государство тоже превратится в одну из множества неустойчивых прагматических корпораций. Обаяние государства покоится на обаянии семейных воспоминаний, его образ строится

по их образу и подобию: падет семья — падет и государство.

Ведь если базовые аналогии физического мира у всех примерно одинаковы, то базовые образы мира социального могут быть и очень часто бывают прямо противоположными. Когда мы начинаем рассуждать о достоинствах и недостатках системы всеобщего образования, бывшему мальчику из интеллигентной семьи представляется примитивная училка, вдалбливающая ему Пушкина и Ньютона, в которых сама мало что смыслит, а деревенская девочка, дошедшая до столичной доцентуры, растроганно вспоминает какую-нибудь Марью Петровну, без посредничества которой она никогда бы даже не услышала этих имен.

Ну и, конечно, к числу базовых предвзятостей принадлежат и суждения авторитетов, усвоенные в возрасте тотальной некритичности к мнениям старших. Затем каждый запасается базовыми аналогиями внутри своей профессии — биологи черпают их в наблюдениях за животными, физики — за двигателями внутреннего сгорания, экономисты — за сводками покупок и продаж, милиционеры — за преступниками, преступники — за милиционерами… В итоге, рассуждая вроде бы об универсальных социальных вопросах, каждый в скрытой форме решает свои личные психологические проблемы, стремясь в завуалированной форме либо выразить кому-то личную признательность, либо свести личные счеты, собственных личных друзей и личных врагов навязать миру в качестве всеобщих: маменькин сынок больше всего на свете ненавидит свою бонну, несостоявшийся тиран — состоявшихся; тот, кто пострадал от организованного коллектива, ненавидит всякую организацию, тот, кто пострадал от дезорганизованного коллектива, ненавидит дезорганизацию; пострадавший от традиций ненавидит косность, пострадавший от нововведений ненавидит безответственное экспериментаторство…

Какой же согласованный критерий возможен там, где каждый пытается возвести личные психологические интересы в ранг объективного закона? Движение к согласию возможно лишь при игре открытыми картами, когда участники дискуссии раскрывают друг другу свои истинные интересы, а не их маскировочные прикрытия, делятся базовыми впечатлениями и целями своих подтасовок, чтобы затем подтасовывать вместе.

Все рациональные аргументы действенны лишь внутри общего воображаемого контекста, а общий контекст создается сходным опытом, — люди с радикально расходящимся запасом базовых впечатлений не могут прийти к согласию, даже если бы очень этого захотели. Поэтому социальное согласие не является

результатом отыскания социальной истины, но социальная истина является следствием социального единообразия.

Есть, правда, некие универсальные свойства человеческой природы, но и они слишком часто лишь разобщают нас. Так, например, каждый из нас, сталкиваясь с людьми, имеющими возможность причинить нам какую-то неприятность, неизбежно испытывает тревогу, а следовательно и раздражение — доходящее до ненависти, если потенциальная неприятность очень уж огромна. Но робкий мальчик, выросший в благополучном квартале благополучной страны, сталкивается с опасной силой лишь в лице полицейского, а потому более всего на свете и ненавидит полицию (государство, выражаясь расширительно). А другой, точно такой же мальчик, выросший в хулиганском квартале, где может ударить, а то и пырнуть ножом каждый встречный, при виде полицейской формы наоборот с облегчением переводит дыхание (приобретая базовые впечатления государственника).

В итоге либеральные воззрения способны распространиться лишь там, где значительная часть населения видит для себя главную опасность не в бандитах, не в хулиганах и не в жуликах, а в государственных службах, — их разнузданность должна производить более сильное впечатление, чем разнузданность соплеменников.

Сегодня либералы очень часто обвиняют государственные службы в том, что они пытаются монополизировать не только право на насилие, но также и право на мошенничество и присвоение чужой собственности. Однако если госслужбы на этом непохвальном поприще сумеют заметно опередить частную инициативу, тем самым они более чем кто-либо послужат успеху либерального дела.

Поэтому самый мудрый тост, который мог бы произнести дальновидный либерал, званый на прием вместе с чиновниками, прозвучал бы так: за вашу и нашу свободу!

Сначала вашу, а затем уже и нашу. Которая будет длиться до тех пор, пока нечиновное население снова не превзойдет вас в бесстыдстве.

Торжество либеральной идеи будет невозможным до тех пор, пока государство в своей разнузданности не сумеет оставить общество далеко позади. Кому в этом состязании пожелать успеха, чиновным или нечиновным гражданам, решайте сами — в любом случае эта победа может быть только временной. Конкурирующие социальные группы рано или поздно объединяются против сильнейшего, а потому в конце концов проигрывает тот, кто слишком долго побеждает.

Конкуренция грез

Российский либерализм останется увлечением интеллектуалов и чудаков до тех пор, пока он не поймет, что экзистенциальное важнее социального, что политические движения, объявляющие главной целью служение бренному, преходящему, обречены на маргинальность. Жизнеспособны лишь те химеры, которые одаряют своих приверженцев чувством красоты и долговечности, а одни лишь воззрения наших либералов на государство как на службу быта делают российский либерализм неконкурентоспособным в глазах массового человека. Ведь он видит, что пенсионерам и рядовым врачам хоть что-то платит только государство, хоть какой-то порядок на улицах поддерживает тоже только оно… А вот в интернете, где нет риска получить по морде или угодить под суд за оскорбление, хамство царит вполне пещерное — с какой же стати либеральное царство самоорганизации сделается царством любви и гармонии?

Но людям свойственно больше ненавидеть ту стихию, которая сумела полнее реализовать свой разрушительный потенциал (если им кажется, что они могут без нее обойтись), а государства успели показать себя во всей красе неизмеримо полнее, чем любой минувший, а тем более грядущий хам. Особенно в странах благополучных — именно там они и сосредоточили на себе больше всего обличений.

Девятнадцатый век, век великих научных открытий и великих грез, прикидывающихся наукой, породил несколько утопических теорий отмирания государства. Коммунистическую (Маркс) — уничтожение частной собственности уничтожит и государство. Либеральную (Спенсер) — укрепление частной собственности заменит централизованные общества военного типа индустриальными обществами, основанными на взаимовыгодном обмене. Анархическую (Кропоткин) — деятельность государства будет полностью заменена деятельностью добровольных союзов. Кропоткину не казалась неустранимой даже такая функция государства, как монополия на насилие, — за таким количеством насилий, какие творит само государство, не угнаться никакой индивидуальной или групповой распущенности. Против злоупотреблений свободой именно свобода и есть лучшее лекарство, поскольку закон взаимопомощи как фактор эволюции ничуть не менее важен, чем закон борьбы за существование. Инстинкт братства записан в наших сердцах самой природой, — я отдал эту кропоткинскую мечту Сабурову — герою моего романа «Горбатые атланты».

Ему-то я и подарил возможность осуществить свою сказку — перестроить жизнь утопавшего в грязи и пьянстве поселка на началах солидарности и безвластия. В этом-то анархическом Эдеме и исчезло воровство, драки, зато появились самоубийства. Ибо служение бренному, преходящему, бессильному, то есть такому, каков он сам, не может сделаться смыслом жизни человека. Не может создать у него иллюзию собственного могущества и бессмертия, способную хотя бы ослабить, если не вытеснить вовсе экзистенциальный ужас, который и есть главный разрушитель нашего счастья.

Да-да, я не поленюсь повторить в десятый раз: наш главный враг не деспотизм власти и не разнузданность толпы, наш главный враг — это смерть, а также болезни и старость, то есть незапланированный и запланированный путь к исчезновению. И потому все, что позволяет нам забыть о нашей обреченности, наш лучший друг и союзник. А самоорганизация даже в своих высших проявлениях почти не занимается и вряд ли будет заниматься чем-то «вечным», то есть наследственным, — стало быть, она не может и осуществить нашу экзистенциальную защиту. Я не могу припомнить ни одной общественной организации, которая хотя бы в своих идеалах служила чему-то непреходящему — все они живут текущим и утекающим, «не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Разве что защитники природы… Но ведь природа отнюдь не защищает нас от ужаса перед нашей мизерностью и мимолетностью, «равнодушная природа» скорее сама внушает этот ужас, — защищают нас лишь духотворные создания.

Люди потянутся даже к злодею, если он каким-то образом укрепит их экзистенциальную защиту — именно на этом основано обаяние зла и в искусстве, и в политике. Всякий, кто не боится смерти, наш союзник в борьбе с экзистенциальным ужасом, даже если это разбойник. Всякий, кто волей или неволей служит чему-то долговечному, волей или неволей в чем-то тоже оказывается нашим союзником. Уж сколько благородные интеллигенты упрекали народ в рабской любви к угнетателям и убийцам — как будто подобное вообще возможно! Человек совершенно независимо от своей воли начинает испытывать неприязнь к тому, кто представляет угрозу для его жизни и свободы, зовись он хоть Сталин, хоть Буш. Но он так же автоматически начинает идеализировать того, в ком видит защитника. В этом и заключается разгадка привязанности россиян к своему отнюдь не самому ласковому и заботливому государству. И к своему страшному, никак не желающему умирать вождю, якобы победившему в конкурсе красоты «Имя

России».

Ахматова в свое время гневно обозвала новой ложью главу «Так это было» поэмы Твардовского «За далью — даль», где Сталин предстает величественным и в свершениях, и в злодеяниях, она желала сохранить его в истории мерзким злобным карликом. Но здесь желания гуманистов приходят в столкновение с психологическими интересами отнюдь не прагматической власти, как они ошибочно думают, но романтического народа.

Ибо история — не только наука, но и, по Карамзину, священная книга, формирующая у народа возвышающий образ самого себя. Образ, без которого люди не захотят приносить своему народу даже самые малые жертвы, без коих невозможно выстоять в кризисные эпохи. Поэтому всегда будут сосуществовать две истории — научная и воодушевляющая, поскольку любой народ согласен видеть свою историю сколь угодно трагической, но величественной, а не презренной. Изобразить же величественной страну с карликом во главе было бы не под силу даже самому Шекспиру: приукрашивая Сталина, народ приукрашивает самого себя, и справиться с желанием народа видеть себя красивым не под силу всем гуманистам и моралистам мира.

Если человеку недостает возвышающей правды, он тянется к возвышающему обману, — видимо, концепция Твардовского и есть предельно допустимый народным сознанием приговор Сталину. Попытки зайти дальше будут приводить лишь к его реабилитации — не властью, народом. К которому власть вынуждена будет прислушаться, дабы не утратить собственной популярности.

Что мы сегодня и наблюдаем. Каким бы ни изображала Сталина научная история, история воодушевляющая почти наверняка оценит его как вождя, развернувшего Россию от интернациональной химеры к национальному государству или даже империи. Но заметит ли она когда-нибудь, что, добиваясь абсолютного повиновения, Сталин уничтожил потенциальную имперскую аристократию, без которой все империи обречены на распад?..

Наша сегодняшняя беда в том, что в квазилиберальной России масса народа осталась без экзистенциальной защиты. Люди во все времена ищут защиты от ужаса собственной беспомощности, идентифицируясь с чем-то могущественным и долговечным, переходящим из поколения в поколение. Но после полураспада религии для большинства сегодняшних россиян главным хранителем наследственных ценностей оказалось

государство. Которое с точки зрения кондового либерализма есть неизбежное зло. Или даже «избежное». Кого же люди должны любить — тех, кто укрепляет их экзистенциальную защиту, или тех, кто ее, по их мнению, разрушает? С коллективистскими моделями модели индивидуалистические соперничать не могут, ибо последние ставят на главное место именно то мимолетное, от чего человек и стремится спрятаться в непреходящем. Какую-то конкуренцию коллективизму мог бы составить либерализм романтический, воспевающий свободу как средство для осуществления «бессмертных» дел, но таковым пока что и не пахнет. Хотя поиск иллюзорного бессмертия — один из главных двигателей человеческой деятельности.

В своем последнем романе «Изгнание из ада» я изобразил романтика двадцатых, сравнительно легко отсидевшего в конце тридцатых, но оказавшегося отторгнутым от государства, а следовательно и от истории, ибо историческое творчество — это прежде всего созидание бессмертия, и кроме государства этим никто не занимается. Дальше у героя все складывается благополучно, но он из веселого аристократа превращается в унылого интеллигента. Ибо интеллигент и есть поверженный аристократ. Отвергнутый аристократ. Отвергнутый от исторического творчества, а потому старательно оплевывающий недоступный ему виноград.

Уж сколько, опять-таки, дивились, почему народная память романтизирует великих злодеев типа Ивана Грозного или Сталина, — а разгадка в том, что это все же какое-никакое, но бессмертие. Однако народ очень редко, а может быть, и никогда не воспевает тех, кто только разрушает. Кто борется за увековечение Чикатило? Народ идеализирует победителей. Другое дело, что его гораздо больше волнует подвиг, чем его цена. Но так смотрят на подвиги все романтики: мы за ценой не постоим. Здесь и пролегает раздел между интеллигентом и аристократом: аристократ склонен помнить о достижениях — интеллигент об их цене. Аристократ двигатель — интеллигент тормоз. Обществу нужно и то, и другое, но экзистенциальной обороне служат только двигатели. И когда их не хватает, народ начинает их искать в самых опасных зонах.

А что ему делать, если к долговечным, пускай архаическим и неосуществимым, деяниям его зовут почти исключительно реакционеры? Даже самое убогое существование в бараке или в казарме все-таки более переносимо, чем жизнь под открытым небом наедине с космосом.

Народ не может отделиться от своего государства, как организм не может отделиться от своего скелета. Но этот скелет

станет выполнять желательные нам функции, только если интеллигенция сумеет предложить идеологию романтического либерализма.

Правда, для этого она должна сама хоть в какой-то степени превратиться из интеллигенции в аристократию. Ибо без аристократии невозможно историческое творчество. Поскольку история есть борьба грез, а аристократ и есть служитель какой-то наследственной грезы.

Да, именно так: я вижу большой смысл взглянуть на историю человечества прежде всего как на историю зарождения, борьбы и распада коллективных фантомов, коллективных иллюзий, коллективных грез, — в этом случае так называемая история общественной мысли тоже окажется главным образом историей общественных грез, являющихся под маской рациональности. Иногда требующих, как, скажем, марксизм или расизм, серьезного квазинаучного оснащения и все-таки овладевающих массами благодаря, в первую очередь, вечно живым сказкам, пульсирующим под сухим панцирем подтасованных цифр и полувыдуманных фактов. Ибо каждая греза последовательно и неуклонно убивает скепсис, неустанно работая на самоподкрепление, «мелочи» вознося в ранг судьбоносных событий (и этим превращая их в судьбоносные) и пренебрегая событиями «действительно» эпохальными (в глазах какой-то иной химеры). Люди, одержимые социальной сказкой, по поводу каждого события задают себе не рациональный вопрос: «Какие это будет иметь последствия?», — а вопрос эстетический: «Насколько красивым я себя буду ощущать?» И делают выбор в пользу более красивого шага.

Собственно говоря, и всякое мышление есть не что иное как подтасовка, подгонка фактов под желаемый результат, — от ученого можно требовать разве что соблюдения главных пунктов научного кодекса: быть открытым чужим подтасовкам и не обращаться за поддержкой к толпе. А в остальном…

Напомню, что доказанных утверждений вообще не бывает — бывают лишь психологически убедительные, то есть очаровывающие, льстящие, поражающие воображение. На поверхностный взгляд, чарующие химеры делятся на коллективные и индивидуальные, но на самом деле практически все значимые личные фантазии могут существовать лишь в качестве ответвлений коллективных, а коллективные становятся материальной силой только тогда, когда им удается очаровать индивида, наделяя его воображаемой картиной мира, внутри которой он начинает представляться себе красивым и в какой-то степени даже бессмертным — или хотя бы уж причастным чему-

то прекрасному и долговечному. Именно отсюда берется та огромная фора, которую социальные грезы имеют перед личными, ибо даже самый сильный и прославленный человек в трезвые минуты не может не ощущать своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности.

Однако национальные фантазии имеют серьезное преимущество даже перед фантазиями корпоративными, ибо человеку трудно удовлетвориться воодушевляющей сказкой о себе, которая не включала бы какой-то красивой легенды о его происхождении, а из сказок корпоративных лишь очень немногие уходят в таинственную поэтическую древность, из которой истекают все национальные сказки: сказка индивида почти невозможна без сказки рода. Либеральная же, индивидуалистическая греза, боюсь, останется совершенно неконкурентоспособной, если не придумает и не будет настаивать на каком-то своем древнем благородном происхождении, на какой-то форме служения чему-то бессмертному (наследуемому), ибо не страдать от ощущения собственной мизерности и мимолетности умеют лишь немногие счастливцы, сверхчеловеки и недочеловеки.

Борьбу народнической химеры с монархической, марксистской с народнической, интернациональной с национальной мы знаем только по книгам, но вот нарождение западной, а точнее американской сказки я самолично наблюдал на рубеже шестидесятых в глубочайшей провинции, откуда Кокчетав смотрелся солидным столичным городом, и наблюдал притом в социальных низах, безупречно далеких от разлагающей столичной культуры. Однако и эта святая простота не жила без возвышающих обманов: для высоких, патетических переживаний — мы русские, мы советские, мы самые крутые; немцы — фашисты, но мы им вломили, французы, англичане — да есть ли они вообще?.. Единственный заслуживающий внимания народ — американцы, наглецы, которые всюду суют свой нос, но, в сущности, трусы (любую деревушку два часа бомбят прежде чем сунуться) и дурачье: один американец засунул в анус палец и думает, что он заводит патефон. Бытовая же красота, ощущение собственной крутости обеспечивались в основном блатной романтикой: фиксы желтого металла, насаженные на здоровые зубы, финки за подвернутым кирзовым голенищем, размытые наколки и душераздирающие романсы, повествующие о том, как отец-прокурор приговорил к расстрелу собственного, им же когда-то позабытого-позаброшенного сына…

«А Гарри, он сражался за двоих, он знал, что ему Мери изменила», «Дочь рудокопа, Джанель, вся извиваясь, как змей, с

шофером Гарри без слов танцует танго цветов», — все это было и в те кристальные времена, но — без малейшего низкопоклонства, извечная бесхитростная музыка иностранных имен, так пленяющая слух в поэзах Северянина: «принцесса Юния де Виантро». Но вот когда миллионы юношей и девушек переименовывают лимонад в кока-колу, пляску святого Витта в рок, жевательную «серу» в чингвам, а улицу Ленина в Бродвей, тут же сокращенный до ласковой фамильярности Брода (хотя, казалось бы, в огне Брода нет): ходят все по Броду и жуют чингвам, и бара-бара-барают стильных дам, — здесь уже явственно зазвучала современная американская мечта…

Вплоть до таких, скажем, нюансов: в ресторане (где ни рассказчик, ни слушатели никогда не были, — до ближайшего ресторана верст этак сто пятьдесят) какой-то распоясавшийся негр (до ближайшего негра верст этак тысячи три) начал тащить девушку танцевать, а ее парень вступиться не смел — как же, мол, дружба народов и всякое такое, — но тут встает благородный незнакомец и ка-ак врежет!.. Негр, естественно, улетает под стол, а избавитель покровительственно разъясняет: «Мы их в Америке вот так и учим». Заимствовать так заимствовать. Такая вот всемирная отзывчивость русского человека.

Доброй мечте все впрок: даже в фильмах о несчастных безработных, которые демонстрировались для нашего устрашения, мы выискивали какую-то романтику. «Последний дюйм» — безработному летчику акула отгрызает руку, — ну так и что: зато пальмы, кораллы, риск… Всяко покрасивше, чем наша тусклота! И этот трагический мужественный бас за кадром: какое мне дело до всех до вас, а вам до меня… Это для тех, кто попозже подсел на Ремарка: никакой политики, никакой философии — только друг, любимая, ром, красивая смерть… Именно красивая, с красивыми напитками: ром, кальвадос..

Новую грезу, как и во все времена, творило прежде всего искусство, которому ничего невозможно возразить, потому что оно ничего прямо и не утверждает, но лишь очаровывает. И верх берет та сказка, в которой человек чувствует себя более красивым, более крутым. Именно поэтому коммунистическая химера даже у романтиков (а они-то и составляют авангард всякой «идеи») начала искать пищи исключительно в прошлом, где только и водились «настоящие коммунисты» — Ленин в Лонжюмо, комиссары в пыльных шлемах… Это была агония: полнокровная химера умеет не отворачиваться от фактов, но интерпретировать их в свою пользу.

К восьмидесятым годам западническая, либеральная греза

обрела уже и рациональную маску: рынок, частная собственность, свободные выборы, разделение властей, подлинная дружба народов… Ведь это же только осточертевшие коммунисты ссорят нас с Западом! В наиболее раскрепощенной версии либеральной сказки насилию вообще предстояло быть вытесненным взаимовыгодным обменом.

Сегодня же коммунистическая греза скорее мертва, чем жива. Все вроде бы на месте — генсек, партия, знамена, Ленин, Сталин, но нет сказки, сплошной мелкобуржуазный прагматизм: пенсии, зарплаты, изъятие природной ренты… Ни грана поэзии, ни проблеска дивного нового мира, без Россий, без Латвий, без конкуренции и эксплуатации. Издыхающая коммунистическая химера пытается подпереться национальной, но и та, если судить по почвенническим толстым журналам, погружена в уныние и безнадежность: всемирному потопу эгоизма, рациональности, потребительства, американизации в сегодняшней картине мира, похоже, уже ничего не противостоит, да и никакое светлое национальное будущее ниоткуда не светит, — одна надежда на Бога и Историю, на русскую духовность и великих предков. Единственная свежая версия всемирного потопа попалась лишь у г-на Любомудрова, в баснословные года перестройки явившегося из туч в пророческом облачении: то, что мы называем американским духом, есть на самом деле еврейский дух, американский народ сделался жертвой еврейской агрессии и сам нуждается в интернациональной помощи. Но это поражение англосаксов излагается так вяло, без огонька, как будто в еврейский фантом не верят и сами те, кто пытается морочить им других. Тем более что и окончательное решение еврейского вопроса в России (окончательная ассимиляция последних еврейских могикан) дело одного-двух поколений.

Словом, либеральной грезе ничего бы не стоило уложить на все четыре лопатки столь хилых соперниц, если бы — если бы и она сама не пребывала при последнем издыхании: сегодняшняя борьба грез («идей») напоминает параолимпийские игры, в которых состязаются инвалиды. Борцы вроде бы пыхтят, но все они паралитики. И в либеральной, «западнической» грезе сегодня тоже почти не ощущается никакой обольстительной, поэтической компоненты, которая позволила бы ее приверженцам ощутить себя солью земли. Искусство, чья главная функция и заключается формировании «картины мира», системы коллективных иллюзий, практически не занимается ни поэтизацией либерального будущего, ни героизацией пионеров модернизации, ни, наконец, воспеванием прелестей скромной частной жизни для тех, кто не

поспел в ногу с веком. Случайно включая телевизор, натыкаешься либо на идиллическое советское прошлое, либо на бандитское настоящее. Телевидение почему-то находит более выгодным транслировать субкультуру неудачников: все кругом куплено, честь и закон в презрении, в институт без взятки не поступить… Впрочем, если в стране неудачниками себя ощущает большая часть населения, то это вполне рациональная позиция.

Можно сказать, что либералы выиграли в мире реальностей, но проиграли в мире фантазий, в котором люди в основном и пребывают, отбирая и интерпретируя реальные факты в соответствии с воображаемой картиной мира. Ветераны оппозиционной либеральной публицистики сами сетуют на то, что молодые журналисты стремятся не к борьбе за идеалы либерализма, а прямиком к бабкам, — но ведь и это можно считать победой индивидуалистической рациональности, ибо за право человека служить личной корысти первыми всегда подымались идеалисты, покуда подлинные корыстолюбцы выжидали, чья возьмет.

В этой мелкотравчатой расчетливости есть и свои серьезные плюсы: меньше романтиков — меньше авантюристов и властолюбцев, ибо святая ненависть борцов за свободу слишком часто порождается завистью неудавшихся тиранов к удавшимся. Да, упадок коллективных грез приводит к росту самоубийств, алкоголизма, наркотизации, но он же уничтожает утопические химеры. Жаль только, что наиболее опасные химеры и оказываются наиболее живучими — распространенное свойство низших организмов. Несмотря на то, что в почвеннических журналах царит уныние, под почвой бурлят силы, уж не знаю, насколько мощные количественно, однако качественно поистине чудовищные: какая же одержимость требуется, чтобы убивать не просто ни в чем не повинных людей, отклоняющихся от закрепившегося в воображении убийц антропологического стандарта, но еще и *детей, девочек!*..

Нет, лучше уж политическая апатия, ибо нормальный фашист — это всего-навсего простой человек, решивший без отлагательств спасти родину, — пусть уж лучше он мирно пьет пиво и смотрит телесериалы. Жаль только, что и они не столько умиротворяют, сколько будоражат человека, обладающего простой, непротиворечивой моделью социального бытия, хотя лишь в умиротворении примитивных и заключается единственный эффективный метод профилактики фашизма. Простой человек может быть только мирным обывателем либо фашистом, у него просто нет иного выбора, поскольку фашизм и есть бунт простоты против трагической сложности и

противоречивости социальной жизни.

Впрочем, об опасности фашизма в приличном обществе говорить не положено, дабы не отступить от первой и последней заповеди либерального интеллигента: несть зол, аще не от власти.

Умиротворить же простого человека, равно как и любого из нас, можно единственным способом: внушить ему картину мира, в которой бы он чувствовал себя красивым и значительным. Последние могикане либеральной пропаганды, завороженные собственной грезой, поступают крайне необдуманно, с пренебрежением относясь к чужим иллюзиям, требуя, чтобы ординарные люди жили в мире реальных фактов, несомненно вредоносных для правящего режима, но оставляющих и рядового россиянина без психологической защиты. Отнимая одни защитные иллюзии, нужно немедленно выдавать новые, оставаться голыми на морозе вселенского абсурда соглашаются одни лишь самоубийцы.

Впрочем, простой человек и сам сумеет постоять за территориальную целостность своих иллюзий, где нужно, прямо затыкая уши, а где можно — перетолковывая неприятные факты в пользу своей, а не чужой сказки. Вот эта-то оборонительная неформальная цензура в тысячу раз более непроницаема для рациональных разоблачений, чем формальная цензура казенная. Поэтому почти бесполезно разоблачать чужие сказки — нужно обольщать собственными.

Что невозможно без помощи искусства.

Однако вожди российских либералов пребывают от всякой художественности, пожалуй, даже еще дальше, чем вожди коммунистов от коммунизма. Справедливо сетуя на то, что пространство свободы слова в последние годы чрезвычайно сузилось, либеральные оппозиционеры забывают о том, что при советской власти это пространство практически полностью отсутствовало, зато общество с невообразимой сегодня жадностью ловило любые дискредитирующие власть намеки в толстых журналах, в кино, в театрах, — и эти неустанно творимые и ловимые обществом формально аполитичные образы постепенно превратили советскую сказку из сияющего облака в вонючий клуб дыма.

Почему же сегодня ничего подобного не происходит при несравненно более благоприятных внешних условиях? Почему ни серьезные художники не рвутся сотворить нечто эзоповское, ни публика не стремится подставить жаждущее правды ухо? Да потому, что прежняя правда дарила людям надежду, альтернативную сказку, а нынешняя, как им кажется, отнимает

последнюю. Уж мир-то творческих фантазий сегодня совершенно свободен, и тем не менее ни один серьезный писатель не фантазирует на социально-оптимистические темы, в том числе и либерального толка, — никто не очарован грезой, которая была бы способна вытеснить своих полуживых соперниц. Поэтому, если даже внезапно все рупоры и экраны распахнутся для свободного слова, утратившая иллюзии публика сама потребует цензуры — или замкнет и зрение, и слух.

Но прятаться особенно и не от кого: даже журнальная критика, этот вечный интеллектуальный авангард российской публицистики, не пытается сделаться политической силой, хотя и на нее заметного давления не оказывается — слишком уж мизерно наше потенциальное влияние на злободневность, а ничем другим сегодняшняя власть и не интересуется.

Однако в качестве индикатора, барометра общественного политического настроения мы, литераторы, печатающиеся в толстых журналах, все-таки чего-то стоим. И барометр этот показывает великую сушь и глубокий штиль. Среди которого особенно явственно слышно клокотание протофашистского массолита.

Впрочем, я забыл, ведь любые разговоры на эту тему льют воду на мельницу власти, открывая ей возможность играть роль защитницы общества от наступающего фашизма, — поэтому фашистскую угрозу в ультралиберальной публицистике полагается считать мифом, который себе на потребу творит, естественно, сама власть, — кто же еще, ведь несть же зол, аще не от власти!

Елена Иваницкая, правда, рискнула исследовать кипящие помои, извергнувшиеся на все книжные лотки от потрясенного Кремля до стен мобильного Китая, и выделила, в частности, следующие повторяющиеся схемы.

1. Была могучая, богатая, счастливая страна, а демократические власти ее погубили, причем начал все это агент Запада Горбачев.

2. Демократические власти объявили свободу вероисповедания и тем погубили могучую, богатую, счастливую православную империю, но, к счастью, на пути сатанистов-демократов стоит объединенная сила в лице спецназа и православного священника (например, у автора Горшкова, название продукта «Нечисть»).

3. Погубив счастливую страну, демократы позволили распоясаться инородцам, прежде всего чеченцам, которые одержимы дьяволом (например, у автора Деревянко, название продукта «Перевернутый крест»), но им опять-таки противостоит

православие плюс спецназ.

4. Гибнущую Россию спасают тайные, стоящие над законом «конторы», организованные либо легальными спецслужбами, либо православными патриотами. Что же касается прямых выпадов против «так называемых прав человека», то это постоянная приправа массолитовской кухни.

Воля ваша, но мне трудно поверить, что все это творится в рамках некоего секретного госзаказа…

Разумеется, российская демократия несовершенна до такой степени, что позволяет желающим и вовсе не считать ее демократией. Однако если бы Россия каким-то чудом превратилась, скажем, во Францию, обставленную по всем правилам евростандарта, — ну, там, честные выборы, свобода слова, гарантии собственности, разделение властей, независимый суд и прочая, и прочая, — весьма значительная часть населения все равно отказалась бы перебраться в этот европейский дом, покуда он не будет утеплен воодушевляющими иллюзиями.

Однако либеральные средства массовой информации вполне успешно соперничают со своими врагами в стремлении максимально выстудить его. Ослабляя этим более себя, чем противника, ибо прямые, рациональные разоблачения чужой грезы лишь мобилизуют ее сторонников вокруг своей элиты. Разоблачения бессильны, если им не предшествует соблазн. Однако его-то и не видать.

Уж и не знаю, о чем думают либеральные лидеры, казалось бы, более всех прочих заинтересованные в реанимации либеральной мечты… Или они и сами мертвецки трезвы, а потому бессильны и опьянить других? Или, напротив, они упоены собой до такой степени, что не в силах подумать о ком-то еще? Нарциссы редко пользуются успехом у противоположного пола: как, я, такой красавец, еще и должен дарить цветы, говорить комплименты?.. Что, эти уроды тоже хотят считать себя красивыми?!.

Не дождутся!

Да никто, собственно, уже и не ждет.

Спасение никогда не приходит от самовлюбленных и трезвых.

Возрождение аристократии

«Россия гибнет, нужно что-то срочно предпринять!» — по этому паролю определяют своих в основном в национально-патриотическом лагере, поскольку лагерь либеральный больше озабочен судьбой отдельных лиц, чем участью общественного целого. Однако кризис целого по какой-то загадочной причине оказывается неотделимым от краха множества частных судеб: бегство от армейской службы, падение рождаемости, «утечка мозгов» идут рука об руку с алкоголизацией, наркоманией, преступностью, самоубийствами…

Увы, массовое бегство от общественных обязанностей не следствие кризиса, а его причина. Кризис социума прежде всего и заключается в массовом нежелании индивидов служить ему. А потому и главный вопрос выхода из кризиса — как возродить это желание?

Протофашистам и просто фашистам всех цветов радуги ответ прекрасно известен: людей надо как следует устрашить. Устрашить до такой степени, чтобы они бросили пить, с готовностью служили в армии, а главное — не стремились сбежать в другие страны, в пьянство, в наркотики, в криминал… И вообще полюбили родину — ведь так естественно любить то, что внушает ужас!

Хорошо еще, что хотя бы либералы понимают, что ужас не способен породить ничего, кроме желания либо сбежать, либо уничтожить источник ужаса. Нет, чтобы люди полюбили родину, им надо платить! Платить за то, чтобы они служили в армии, платить за то, чтобы они рожали и воспитывали детей, платить за то, чтобы они не уезжали, не пьянствовали, не кололись, а главное — не убивали друг друга или хотя бы самих себя.

По-видимому, все исчезнувшие государства и погибли из-за того, что их гражданам однажды недоплатили…

Своей иронией я вовсе не пытаюсь намекнуть, что России ничто не угрожает: и не такие царства погибали, как говаривал совсем не глупый Победоносцев. Но — в одной мудрой памятке психотерапевта, работающего с «кризисными» пациентами, рекомендовано прежде всего снимать чувство неотложности, необходимости предпринять что-то срочное: именно в лихорадочной спешке люди и творят особенно непоправимые безумства. Однако это же в еще большей степени справедливо и для народов: именно в кризисных ситуациях необходима политика, поднимающаяся над острой злободневностью, взирающая на самые мучительные проблемы если уж не с точки

зрения вечности, то, по крайней мере, с точки зрения их долговечности, включающая их в максимально широкий исторический контекст.

А в этом контексте творилось немало поучительного. Был великий Рим, державший под своей десницей десятки народов, и рассыпался в одночасье. И что самое удивительное — никакого пребывающего в рассеянии народа «римляне» тоже не осталось. Пока итальянцы для подкрепления собственного духа не начали воображать себя потомками римлян. А тем самым и действительно ими стали. Ибо главная жизнь народа и протекает в его воображении.

И впрямь, римляне как народ исчезли, а покоренные ими евреи, изгнанные с родины предков, остались. И через две тысячи лет, после невероятных испытаний вновь возродили собственное государство на Земле обетованной. Что их сохранило как народ? Греза. Ни на чем не основанное мнение о себе как о хранителе какого-то великого наследия, вершителе какой-то великой миссии. А у римлян этой грезы не было — была только могучая военная техника, могучая экономика, громадная территория…

Многократно, по-современному ускоренными темпами подобная история развернулась, можно сказать, на наших глазах. Был великий Советский Союз, державший под своей десницей десятки народов, и рассыпался в одночасье. И что самое удивительное — никакого пребывающего в рассеянии народа «советские люди» скоро не останется, а покоренные ими чеченцы, изгнанные с родины предков, сохранились. И через сорок лет, после невероятных испытаний…

Разумеется, лично я в качестве чужака, живущего иными химерами, не могу считать, что их греза стоила таких жертв (каждый рационалист считает, что обладают ценностью лишь его собственные фантомы, а чужие не стоят не только слезинки ребенка, но даже и гвоздя в сапоге). Но что невозможно отрицать — советские люди обладали всеми марксистско-сталинскими признаками нации: общая территория, экономика, язык и даже что-то вроде культуры; чеченцы же не имели ничего, кроме грезы, *мнения,* — и вот этим-то мнением народным они сохранились, а советский народ исчез.

Для разумного достаточно. Народ сохраняют не территории, не богатства и не военная техника, народ сохраняют коллективные грезы, ни на чем серьезном не основанное коллективное мнение о себе как об огромной ценности, допустить исчезновение которой ни в коем случае нельзя. Поэтому всякий народ, которому действительно грозит исчезновение, должен прежде всего позаботиться об укреплении своих коллективных

мечтаний, ибо их укрепление — это и есть национальный подъем, а их ослабление — национальный упадок.

Но грезить о себе вопреки всему миру, когда в собственных глазах ты все, а в чужих ничто, не только до крайности трудно, но и до крайности опасно, — очень скоро придется возненавидеть все человечество, не разделяющее твоих иллюзий, и внушать уважение к себе жертвенностью и террором. Гораздо надежнее творить реальные дела, способные поразить не только твое собственное, но и чужое воображение. И Советский Союз такие дела творил. Да, в пропагандистских, милитаристских целях, но творил — вышел в космос, открыл дорогу великолепным ученым, спортсменам. И пресловутая ностальгия по империи — это прежде всего не ностальгия по страху, который она внушала миру, а ностальгия по чувству причастности к чему-то великому и бессмертному. Ибо жизнь в сегодняшней России дает очень мало пищи для этой важнейшей человеческой потребности. Тогда как именно ей служит система грез, именуемая родиной. За это родину и любят.

Интересы личности и государства не так уж и расходятся, ибо и государство, и личность питаются от одной энергетической системы — системы коллективных фантазий, — которые тоже не могут выжить без государственной инфраструктуры. Я готов, опираясь на цифры, показать, что алкоголизм, преступность, наркомания, самоубийства в огромной степени порождаются общей причиной — упадком коллективных иллюзий, — без которых не выживет и государство.

«Государство должно служить воображению, и тогда воображение послужит государству», — примерно так можно сформулировать набросок новой политической парадигмы. Однако осуществить ее — систематически поражать воображение — невозможно без возрождения национальной аристократии, то есть творцов и служителей коллективных наследственных грез — «бессмертных». Аристократы творят великие дела, порождая во всех остальных чувство и собственной неординарности, и собственной долговечности. Которое в своей стране возникает несопоставимо легче, чем в чужой. Иллюзию причастности к подвигам своих предков и соотечественников пробудить гораздо проще, чем к подвигам чужих, — так уж человек пока что устроен: ему легче фантазировать о своей связи с теми, с кем, по его представлениям, его объединяют общие предки, общая судьба.

Идентификация с ними и есть патриотизм. Гордиться подвигами, сострадать несчастьям, стыдиться и желать искупить падения…

Но кто должен создать эти чувства, без которых почти не

может существовать ни одно государство — по крайней мере, в годы испытаний? Как будто бы само государство и должно…

Вот оно как будто бы и берется…

Теперь уже не новая федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 годы» давно ходит по редакциям и, следовательно, по рукам, однако писать о ней начинаю не без опаски: засело в памяти, как уже в наше свободомыслящее время люди получали убийственные сроки за сбор опубликованной информации. И все-таки рискну — в соответствии со своим патриотическим долгом.

Первое, что вызывает беспокойство, — пугающе знакомый советский язык. Люди, для которых этот язык родной, не могут воспитать никого, кроме себе подобных. Патриотизм — это прежде всего любовь, а пробудить любовь к чему бы то ни было может лишь тот, кто не только испытывает ее сам, но и способен выразить ее в трогательных словах и образах. Именно в образах, ибо всякая любовь есть любовь не к реальному предмету, но к образу этого предмета, и очаровывать образом родины могут лишь те, кто носит этот образ в своей душе. Образы таких бесконечно сложных и противоречивых объектов, как страна или народ, неизбежно оказываются и бесконечно разнообразны, и нередко бывает, что два пламенных патриота столь же пламенно ненавидят друг друга из-за радикального несовпадения образов одной и той же родины, а тем более — из-за несовпадения образов ее будущего и путей к нему. Но при этом чаще всего каждому открывается какой-то аспект многогранной и противоречивой картины.

Поэтому имела бы, возможно, и воспитательную ценность, а уж социологическую во всяком случае, такая субпрограмма: обратиться к ряду «мастеров культуры» — творцов коллективных фантазий — с просьбой рассказать, что именно в их личном образе России представляется им наиболее дорогим, пробуждающим желание что-то делать для нее, идти ради нее на какие-то жертвы.

Разумеется, в возникшей мозаике окажутся и прямо отрицающие друг друга фрагменты, но противоречивость — совершенно необходимое свойство коллективных фантазий, чтобы почти каждый мог найти в них чарующие лично его черты.

Образ родины создают художники — слова, кисти, звука, жеста, — а не министры или генералы, при всей практической важности их функций. Но родина-то начинается с отказа от прагматики, она есть создание мечты, поэзии; патриотизм невозможен без поэтического отношения к прошлому, настоящему и будущему своей страны, и вот поэзией-то в

программе даже и не пахнет. И это пугает. Возможно, правда, отпугивает ее язык: «комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий»…

Второй тревожный признак — в программе речь идет, похоже, едва ли не об одном лишь военно-патриотическом воспитании, тогда как для сегодняшней России ничуть не менее важно просто патриотическое. Главное испытание для нее сегодня — не военная угроза, а соблазн. Соблазн устроить свою жизнь отдельно от своей страны наиболее властно влечет прежде всего самых энергичных и образованных ее граждан, и Советский Союз был повержен не силой оружия, а силой соблазна: коллективная фантазия из года в год упорно идеализировала «потенциального противника», столь же неукоснительно демонизируя собственное государство, и в конце концов обороноспособность страны пришла в полную негодность при тысячах и тысячах танков, боеголовок и замполитов. И поблагодарить за это советская власть должна прежде всего самое себя: ее идеологи с такой откровенностью под видом любви к родине навязывали любовь к самим себе, с таким простодушием объявляли всякую попытку критики их системы покушением на отеческие святыни и память павших, что многие и многие из нас и впрямь поверили, что любовь к родине равносильна поддержке корыстной и близорукой правящей клики.

Я вижу серьезную опасность в повторении той же ошибки, я опасаюсь, как бы неумелые и корыстные посредники снова не начали мешать нам относиться с поэтичностью и заботой к своему отечеству.

Военно-патриотическое воспитание чревато и более принципиальной опасностью — утопическим упростительством, стремлением объявить воинские доблести не просто заслуживающими высочайшего восхищения, но еще и *единственными,* обязательными для каждого гражданина без единого исключения. Однако это невозможно: разделение общественного труда с неизбежностью приводит и к разделению общественных ценностей; невозможно, чтобы ученые, инженеры, врачи, художники, земледельцы в душе оставались прежде всего солдатами — вполне достаточно, если воинский дух в них будет пробуждаться непосредственной военной угрозой.

Но говорить об этом всерьез явно преждевременно: похоже, нынешние пропагандисты не способны пересолить с милитаристским энтузиазмом, но, напротив, способны осуществить разве что новый виток дискредитации и любви к родине, и воинской чести, и государственных символов, и

подвига народа в Великой Отечественной войне. А пробуждать в нас национальное достоинство будут по-прежнему одни только господа Лебезятниковы от либерализма, неустанно твердящие нам, что любовь к родине есть глупейший предрассудок, присущий исключительно совкам. К числу которых мы, очевидно, должны отнести и Пушкина, и Платона, и…

Среди либералов, к сожалению, очень много дураков. Но есть дураки, которые плохо учатся, не умеют связно излагать свои мысли, — они идут к коммунистам. А есть дураки, которые хорошо учатся, — они идут в либералы. Тоже усерднейшим образом дискредитируя все, чего коснутся. Я думаю, каждому знаком этот человеческий тип — говорящий скворец с ученой степенью, на любой дискуссии о глубочайших вопросах человеческого существования оттарабанивающий одну и ту же тираду, чуть ли даже не одно и то же слово: финансировать, финансировать, финансировать… Как возродить науку? Финансировать. Как увеличить рождаемость? Финансировать. Как пробудить привязанность к родине? Финансировать. Когда у человека будет хорошая зарплата, пенсионное обеспечение и безопасность, он полюбит родину и вывесит на балконе ее государственный флаг. При этом говорящий скворец будет знать несметное множество цифр и формул и окажется наглухо запечатан лишь для элементарнейших вещей, открытых любому хоть сколько-нибудь чувствующему человеку. Он детально опишет систему материального стимулирования науки, деторождения и патриотизма в семидесяти семи странах, но никогда не поймет того, что без культа истины любые средства учеными пройдохами будут пущены на пустые имитации, что без культа материнства, отцовства, продолжения рода никаких денег не хватит, чтобы оплатить столь безмерный труд, как ответственное воспитание детей, что родина — не промышленно-финансовая корпорация, от которой с легкостью отворачиваются, чуть только она перестает быть прибыльной, а наоборот — униженную, терпящую бедствие родину любят вдесятеро более остро, что в привязанности к родине человек удовлетворяет не материальные, а экзистенциальные потребности, потребности в прикосновении к великому и долговечному… Но в либеральном лагере подобные слова многим кажутся почти неприличными.

Однако и либеральное общество не может существовать без собственной аристократии, без людей, стремящихся смотреть на современность с точки зрения вечности.

А что, собственно, означает это выражение — «с точки зрения вечности»? На медной латыни оно звучит еще более грозно: sub specie aeternitatis. Почему грозно? Да потому, что река времен в

своем теченьи уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей: все, что нас радует и печалит, все, о чем мы мечтаем и чего страшимся, — все это когда-нибудь «вечности жерлом пожрется». Последовательный взгляд с точки зрения вечности — это взгляд безразличия или отчаяния, погружаться в вечность слишком глубоко не только опасно, но и неплодотворно.

На мой же взгляд, смотреть на вещи с точки зрения вечности означает оценивать их с точки зрения их *долговечности,* задумываться об отдаленных последствиях своих решений и постоянно предпочитать «долготу» — «широте». Иными словами, задумываясь о любой социальной проблеме, ставить перед собой не тот вопрос, который сегодня считается главным: «Насколько широкого круга людей это касается?» — но вопрос, сегодня слишком уж непопулярный: «Как долго эта проблема будет оставаться актуальной? Многих ли она будет волновать через одно — два — три — десять поколений?»

Лермонтов, пророчествуя о горькой участи своего поколения, отнюдь не предрекал ему низкого качества жизни, — он устрашал своих сверстников грядущим *бесследным исчезновением:* толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. Пушкин тоже страшился бесследно исчезнуть: без неприметного следа мне было б грустно мир оставить… Гоголя с юности ужасала перспектива затеряться в пыли, ничем не означив своего имени. Даже «мужиковствующий» Толстой признавался, что, берясь за новую вещь, он испытывает такое ощущение, будто на него смотрят сорок веков…

Подобные чувства сегодня расхожий гуманизм заклеймил бы как аристократические и, следовательно, противоположные демократическим, ибо демократично только то, что служит повседневным нуждам так называемого простого, массового человека; беспокоиться же о том, что оставит след в вечности, то есть в умах потомков, есть не что иное, как барская блажь. На это я могу возразить только одно: подобная трактовка гуманизма и демократии основана на глубочайшем презрении к этому самому простому человеку и, в сущности, даже на отказе считать простых людей людьми. Я же настаиваю на том, что «простых людей», не нуждающихся в том, чтобы чувствовать себя причастными к чему-то бессмертному — по крайней мере, долговечному, не заканчивающемуся с их жизнью, — *просто* не существует.

Я настаиваю на том, что взгляд прагматика на человеческую природу гораздо более наивен, чем взгляд романтика: человек — не какой-то особенный аристократ духа, а всякий человек, покуда он остается человеком — живет и может жить только грезами,

иллюзиями. Разумеется, я говорю не о галлюцинациях душевнобольного, не имеющих ничего общего с реальностью, — я говорю о том, что решительно всякий реальный объект, который мы любим или ненавидим, мы непременно идеализируем либо демонизируем — или уж, как минимум, погружаем в воображаемый контекст, внутри которого предмет нашей симпатии или антипатии приобретает смысл, коего он сам по себе не имеет. Слабость прагматического взгляда на человека вовсе не в том, что он низок или оскорбителен, — слабость его в том, что он чрезвычайно далек от истины. Прагматический взгляд на человеческую природу исходит из той, часто неосознанной, посылки, что для человека физические ощущения неизмеримо важнее, чем душевные, психологические переживания. Тогда как дело обстоит скорее обратным образом.

Кто спорит — достаточно интенсивная, достаточно продолжительная пытка болью, голодом, страхом почти каждого заставляет рано или поздно забыть обо всех высоких фантазиях и мечтать только об одном — чтобы пытка прекратилась. Однако это вовсе не означает, что пытка вскрывает истинную сущность человека, обнаруживает его истинные потребности — нет, пытка вовсе не обнажает, но *убивает* человеческую суть. Да, страдания рано или поздно превращают человека в сугубого прагматика, но — он при этом перестает быть человеком, утрачивает именно то главное, что отличает человека от животного, — способность жить воображением, относиться к плодам собственной, а тем более коллективной фантазии намного более серьезно, чем к реальным предметам.

Именно поэтому и государство должно едва ли не в первую очередь обслуживать фантазии человека, его удовлетворяемые этими фантазиями психологические потребности. Одной же из самых важных наших потребностей является потребность иметь — всегда воображаемую — картину мира, в которой мы представляемся себе красивыми, значительными и даже бессмертными. По крайней мере, причастными к чему-то долговечному, переходящему из поколения в поколение.

Пожалуй, наиболее долговечное в нас и есть наиболее человеческое. А потому смотреть на вещи с точки зрения вечности очень часто означает ставить на первое место наиболее человеческое в людях.

Так или иначе, предлагаю всем желающим посмотреть на все сегодняшние проблемы, не сходящие со страниц газет и телевизионных экранов, с точки зрения того, какой след они оставят «в вечности», как они будут выглядеть в глазах наших потомков. Вполне возможно, что наши ответы со временем

превратят набросок новой парадигмы в реальную политическую программу.

Долговечным бывает только то, что поражает воображение, а в веках живут вообще одни лишь легенды. Поэтому, если Россия хочет жить долго («вечно»), ей абсолютно необходимы люди-легенды, события-легенды. Люди, нацеленные на дела, способные жить в памяти потомков, — эти люди и составляют национальную аристократию. Именно благодаря своей аристократии и выживают народы: их сохраняет не территория и не экономика, а память о великих предках (система легенд и фантомов) и надежда (греза) когда-нибудь оказаться их достойными. Да, сохраняют коллективные иллюзии, становящиеся смертельно опасными для народа, если они уходят слишком далеко от наблюдаемых фактов, и ведущие к распаду нации, если они исчезают вовсе.

Следовательно. Те, кого действительно ужасает стон «Россия погибает!», должны признать первейшей национальной задачей развитие национальной аристократии, расширение круга людей, мечтающих поражать воображение, свое и чужое, и этим оставить след в памяти потомков. Это, разумеется, не отменяет ни борьбу с бедностью, ни борьбу за увеличение пенсий, за качество здравоохранения и прочая, и прочая. И все-таки одновременно с этим нужно делать ставку на особо одаренных во всех областях человеческой деятельности. Если даже ради этого придется пожертвовать какими-то процентами жизненного уровня и экономической эффективности. Государство не производственная корпорация, оно существует для служения гораздо более долговечным ценностям — без которых и сиюминутные начинают хиреть, как организм без витаминов. Иллюзия красоты и бессмертия (если только это не одно и то же) — ее поддержание есть не что иное как борьба с эстетическим авитаминозом.

Но выполнение этой задачи государством невозможно без достаточно сильного самовоспроизводящегося слоя людей, способных хранить и создавать долговечные, поражающие воображение ценности. Прогрессивная печать немало и, по-видимому, даже справедливо потешалась над склонностью советской власти создавать коров-рекордисток, быков-рекордистов, однако в мире людей это сегодня было бы жизненно необходимой политикой. Я имею в виду всемерное расширение — особенно в провинции — сети школ для наиболее одаренных и наиболее романтичных в науке, искусстве, военном деле… Впрочем, одаренность и романтичность часто одно и то же.

Конечно, укрепление аристократически мыслящего и чувствующего слоя само по себе еще не есть национальная идея,

но это необходимый первый шаг к ней — «идеей» сделается весь противоречивый комплекс устремлений этого слоя. Ведь то, что сегодня представляется национальной идеей, целью существования великих государств прошлого, возникло не в результате сознательного проектирования на века вперед, но напротив приписано в качестве цели задним числом, исходя из представления о наиболее впечатляющих достижениях народа и государства. Цели и достижения на каждом этапе формировались аристократией, и лишь конечный результат объявлялся миссией народа.

Словом, если будет аристократия, то будет и идея.

Так что же, вознегодует радикальный гуманист, простые люди, равнодушные к вечному и долговечному, должны снова служить сырьевым ресурсом творящих историю «великих личностей»?

На все эти вековечные излияния жалости кающегося дворянина к простому человеку можно тоже повторять из века в век: *не нужно жалеть простого человека больше, чем он жалеет себя сам.* Разве не самые что ни на есть простые люди первыми голосуют за фашистов и коммунистов, сулящих им национальное и классовое величие? А эти российские язвы — пьянство, наркомания, бессмысленные убийства, самоубийства, — им что, больше всех подвержены какие-то аристократы духа? От невыносимой бессмысленности, бесцельности бытия страдают прежде всего люди ординарные, именно их в первую очередь убивает отсутствие хотя бы воображаемой (впрочем, иной и не бывает) причастности чему-то впечатляющему и долговечному. Во время футбольных матчей вопят от восторга и рвут волосы от отчаяния — что, какие-то необыкновенные романтики? Видели вы когда-нибудь, чтобы люди так сходили с ума при получении зарплаты?

Если бы человек был способен радоваться исключительно личным успехам, мир состоял бы почти из одних только злобствующих неудачников, потому что на любом пьедестале почета могут поместиться лишь очень немногие. Но человек — самый что ни на есть простой и ординарный — в своем воображении способен отождествить себя с другими людьми, социальными группами, корпорациями, нациями, человечеством, наконец, и, благодаря этому, ощутить их победы как свои собственные.

И в этом его главное спасение от неустранимых неудач и несчастий, которыми переполнена жизнь даже самого благополучного человека. Индивидуализм, сосредоточенность на личных достижениях — мироощущение нелегкое даже для

сильных, для победителей, ибо поражение в конце концов терпят все, да, к тому же, и невозможно всегда побеждать всех и вся. Но слабых индивидуализм просто раздавливает, именно слабым, ординарным людям особенно необходимо приобщиться к чужим успехам, к чужому величию, к чужой долговечности. А потому люди рядовые нуждаются в развитии национальной аристократии, в возможности гордиться ее достижениями гораздо больше, нежели сама аристократия.

И вот это-то прежде всех должны уяснить именно патриоты, государственники: из всего национального наследия — территория, хозяйство и прочая, и прочая — для исторического выживания нации наибольшую ценность представляет именно аристократия. Не поленюсь повторить: в античные времена еврейский народ полностью утратил территорию, но сохранил духовную аристократию, хранительницу грез, — и через две тысячи лет возродил государство на прежнем месте. Меньше века назад, уничтожив аристократию — духовную, интеллектуальную, — большевики почти превратили Россию в другую страну. Нужно ли продолжать их дело демократическими методами?

Я намеренно не задерживаюсь на конкретных подробностях «технологии производства» аристократии: если общество поймет, насколько драгоценен этот социальный слой, оно найдет и средства для его взращивания. Замечу только, что «производство» аристократов всегда в огромной степени их воспроизводство: аристократический дух служения наследственным ценностям возжигается в юных романтиках от соприкосновения с другими, зрелыми аристократами.

Возрождение и защита аристократии есть часть одной из главнейших государственных функций — защиты слабых. Не нужно только забывать, что в защите прежде всего нуждаются не малозащищенные личности (они хоть как-то да могут напомнить о себе), а малозащищенные общественные потребности, то есть те потребности, которые лишь очень немногими (аристократами) ощущаются как личные. Парадоксально, но в особой защите нуждаются именно те формы деятельности, которые прежде всего и обеспечивают народу долгожительство, — это наука и искусство, главные социальные функции которых соответственно поражать воображение новыми знаниями, а также творить и поддерживать чарующие грезы, способные чаровать даже и по другую сторону государственной границы, создавая таким образом пресловутый национальный престиж.

В свете этих базовых положений к вечным попыткам властей грести в армию всех будущих физиков и лириков вполне

применимо классическое выражение: это хуже, чем преступление, — это ошибка. Это не государственное, а антигосударственное понимание общественной пользы, ибо разделение труда, повторяю, неизбежно приводит и к разделению ценностей, а потому невозможно, чтобы ценности военной аристократии овладели ученым и гуманитарным сообществом. Принуждать же аристократию, или, если хотите, элиту общества, тоже недопустимо: именно элита и есть главный источник народной воли, а потому она не может управляться какой-то иной волей. По отношению к аристократии дальновидная власть должна особенно крепко усвоить золотое правило государственной политики: нельзя насиловать тех, в чьей любви нуждаешься, выиграешь в силе — проиграешь в преданности. А преданность элиты — основа прочности государства и прежде всего — его обороноспособности.

Военные должны строить собственное здание собственной, военной, аристократии, но не разбирать для этого чужие. Люди не кирпичи, в семнадцать лет будущие аристократы уже обретают духовную специализацию, и переориентировать их практически невозможно. Можно лишь обрести в их лице раздраженных оппозиционеров.

Все грандиозные успехи сначала царской России, а затем Советского Союза, достигнутые запугиванием и унижением аристократии, привели к тому, что она психологически отделилась от собственного государства и, превратившись в интеллигенцию, принялась не покладая рук демонизировать его, одновременно идеализируя потенциального противника.

Результат подобного пораженчества показал себя дважды в течение семидесяти лет. Неужто нужно повторять одну и ту же глупость трижды, как это делается в сказках, тоже далеко не всегда имеющих хороший конец?

Если смотреть с точки зрения вечности, между властью, аристократией и простым народом нет никаких непримиримых противоречий — они все нуждаются друг в друге, не могут обойтись друг без друга. Медный всадник, попирающий маленького человека, конечно, необыкновенно мощный образ (и Мережковский полностью одобрял такую ситуацию: герой и не должен считаться с плебсом), но обратим внимание — Медный всадник еще и гениальное произведение искусства, к которому со всего света тянутся туристы. И потомки бедного Евгения из Читы и Самары считают делом чести сфотографироваться у каменной волны его постамента…

Ибо и у власти, и у аристократии, и у рядового человека есть один общий могущественный враг — скука, ощущение

ничтожности и бессмысленности существования. И Медный всадник не только требует жертв — он еще и открывает гению путь к бессмертию, а жизнь обычного человека наполняет смыслом и красотой. Государство, аристократия и простой народ перед зданием Сената протягивают друг другу руку.

Начинать с крыши

Либеральная сказка конца восьмидесятых вопросы безопасности вообще не рассматривала, ибо главным источником опасности считались мы сами. Кто ж на нас станет нападать, когда мы сделаемся демократическими! А когда жестокая реальность по обыкновению обнажила свои стальные зубы, явилась новая подпорка — Профессиональная Армия.

Но вот А. Храмчихин в чрезвычайно дельной статье «Военное строительство в России» («Знамя», № 12, 2005) приходит к весьма печальному итогу: единоспасающая Профессиональная Армия такой же либеральный фантом, как и Рынок, который автоматически «все расставит по местам». Логика автора приблизительно такова: не надо придумывать красивое слово «профессионал», когда речь идет о наемнике; за деньги можно убивать, но за деньги нельзя умирать; контрактный принцип в развитых странах резко ухудшает качество личного состава, очень часто не способного даже за пять лет освоить сложную современную технику, которую умный солдат осваивает за полгода. Поэтому «в той армии, которая нужна России, служить должны все (включая студентов), за исключением тех, кто не может по медицинским показаниям». «Гражданский контроль над армией должен обеспечить соблюдение всех прав военнослужащих. Только ГРАЖДАНИН может быть сознательным защитником страны».

Все четко. Вплоть до разоблачения истинных мотивов сторонников «профессиональной» армии: «Они хотят, чтобы их дети, а также дети их избирателей могли официально не служить, а на остальных, чьи дети вынуждены идти в армию от безысходности, наплевать, эти люди все равно не голосуют за СПС и „Яблоко“».

Да, по отдельности все четко. Но вместе выходит как-то туманно. Если лишь ГРАЖДАНИН может быть сознательным защитником страны, то дети интеллигенции, голосующей за СПС и «Яблоко», таковыми не являются, поскольку они прячутся за спины своих пап и мам (не говоря уже, что яблоко от яблони…). Однако и дети тех, кто за либеральные партии не голосует, тоже слабо подходят на роль сознательных защитников страны, поскольку идут в армию не по доброй воле, а «от безысходности». В итоге, проблема норовит переформулироваться следующим образом: как следует осуществлять военное строительство при катастрофической нехватке ГРАЖДАН, кои только и могут быть сознательными защитниками родины?

Но, может быть, все не так безысходно, быть может, аксиома о том, что хороший солдат непременно должен быть еще и ГРАЖДАНИНОМ, тоже сформулирована в духе разоблачаемой химеры?

В самом деле, неужто армия Кутузова в 1812 году была более граждански зрелой, чем армия Наполеона? И, напротив, французские солдаты, капитулировавшие в 1940 году перед Гитлером, были худшими гражданами, чем те советские солдаты, которые в 1941-м продолжали сражаться в куда более безнадежных обстоятельствах? Даже Маннергейм отмечал их самоубийственную стойкость, примеры которой он мог припомнить лишь у древних народов.

Слово «гражданин» слишком уж расплывчато. В одной политической культуре священным долгом граждан считается неколебимое доверие и беспрекословное повиновение власти, в другой — постоянное недоверие и решительный протест при всяком мало-мальски серьезном недовольстве. Но мыслимо ли вести войну, то есть погибать и терять близких, оставаясь довольными властью, которая посылает на смерть? Боюсь, именно сегодняшнее либерально-демократическое представление о том, что такое ГРАЖДАНИН, несовместимо ни с какой серьезной войной.

Я не специалист и что-то могу забыть, но у меня сложилось такое впечатление, что практически все войны, которые сильные передовые страны вели против слабых отсталых стран во второй половине XX века, закончились поражением сильных. Именно потому, что граждане цивилизованных демократических стран рано или поздно отказывались жертвовать людьми и материальными ресурсами, — может быть, все дело было в том, что они были просто гражданами, а не теми ГРАЖДАНАМИ, о которых мечтает А. Храмчихин? Да, если бы передовые страны защищали собственную территорию, их граждане наверняка проявили бы больше стойкости, но такие крайности, как «до последней капли крови», и тогда скорее всего пришлись бы им не по душе. Дело в том, что современный гражданин демократического государства совершенно искренне убежден, что государство должно служить человеку, а не человек государству, — это азбука либерально-демократической культуры.

Во многих отношениях это великолепно. И тем не менее, обилие солдат с такой психологией едва ли сильно укрепит армию.

Но означает ли это, что самоотверженная армия невозможна в демократическом государстве? Нет, не

означает. Это означает лишь, что от «просто гражданина» и от солдата требуются разные качества. Не нужно пытаться одним человеческим типом покрыть все многообразие потребностей современного общества.

Невозможно умирать за деньги, в этом А. Храмчихин совершенно прав. Я скажу даже больше: невозможно умирать ради каких бы то ни было рациональных целей, ибо лично ты все равно уже не сможешь воспользоваться плодами победы, сколь бы сладостными они ни оказались. И если даже ты пламенный патриот, рационально ли приносить такую огромную жертву, как жизнь или здоровье, когда родина этого все равно не почувствует? Ибо вклад одной жизни в общую победу всегда исчезающее мал.

Так что же, все герои былых времен были безумцами? Ни Андрей Болконский, ни его раздражительный папа на таковых не похожи. И какими же словами напутствует отец сына, отправляя его на войну? «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… Стыдно!» Толстой знал, о чем пишет, он и на склоне лет вспоминал, что в Севастополе его неотступно терзал страх — страх смерти и страх позора. Честь — вот ради чего отдавали жизнь знаменитые своей храбростью русские аристократы, и человека, лишенного воинской чести, сумеет отправить в бой лишь такая власть, которая сумеет внушить ему еще больший ужас, чем противник.

А для этого власть должна быть совершенно свободной в своих действиях, свободной и от закона, и от гражданского контроля. Поэтому, если в стране недостает людей, обладающих воинской честью, воевать ее может заставить только власть не просто авторитарная, но сугубо фашистская. В стране же хоть сколько-нибудь демократической боеспособная армия невозможна без достаточно многочисленной социальной группы, которую можно условно назвать военной аристократией.

Не нужно только надеяться расширить эту группу до таких пределов, которые захватили бы и интеллектуальную элиту, это заведомая утопия. Ученые, инженеры, врачи, учителя не могут обладать таким же представлением о чести, как военные: для ученого исполнять что-либо без рассуждений, в отличие от солдата, есть дело самое постыдное. И если юноша, мечтающий быть скрипачом, превыше всего ценил бы воинскую доблесть, он бы и стремился в военное училище, а не в консерваторию. Принуждать же интеллигенцию к тому, с чем она внутренне не согласна, означает приобретать не сознательных защитников родины, а озлобленных отщепенцев, если вспомнить классические «Вехи». Отщепенчество интеллигенции от государства уже

сыграло свою роковую роль в истории как самодержавной, так и советской России, — надо ли повторять этот опыт в России хоть сколько-то демократической?

Первостепенной задачей военного строительства мне представляется формирование того более или менее организованного слоя, который был бы способен выполнять функции военной аристократии.

Как же сформировать этот слой?

Единственный известный миру способ формирования аристократических натур, нацеленных на служение будущим поколениям, это длительное соприкосновение с другими аристократическими натурами в пору романтической юности. И когда военные пытаются использовать аристократию из интеллектуальных сфер, уже вступившую в возраст отвердения ценностной шкалы, они приобретают не «сознательных» защитников родины, но лишь раздраженных оппозиционеров.

Но почему бы не начать формирование солдат, а особенно младшего «комсостава» на гораздо более ранних стадиях? Почему нельзя создавать школы и училища с военным уклоном? Где формировались бы не только профессиональные навыки, но и профессиональный этос. Сегодня у государства достаточно средств, чтобы поставить такие заведения на вполне пристойную и материальную, и моральную ногу, — я имею в виду моральный облик воспитателей: неужто во всей России их не набрать, если действительно захотеть? А затем будущую элиту желательно сосредоточивать в специальных отборных частях, постепенно их расширяя и вытесняя прежние, о которых нам уже и читать тошно.

А. Храмчихин в качестве образца для подражания приводит Израиль, где служба до крайности тяжелая, — чего стоят одни убийственные марш-броски по пустыне, — зато быт не только благоустроенный, но и — что самое главное — свободный от унижения. При том, что военная угроза в Израиле очевидна каждому — и левым, и правым, и полусредним. Либеральная общественность Израиля временами даже обращает внимание, что среди погибших солдат и солдаток столь завышен процент репатриантов из бывшего СССР: этично ли заставлять людей рисковать жизнью ради нескольких десятков шекелей? Однако рисковать жизнью за шекели не станет ни один сумасшедший. Риск, сопровождаемый унижением, и риск, окруженный почетом, — совершенно разные вещи. И если в каких-то особых частях российской армии предметом первейшего попечения сделается достоинство солдата, тогда появится возможность привлекать туда не люмпенов, но романтиков. Если опасность

будет красивой, они туда потянутся.

Ученых создают поэты

Есть еще одна сфера, которая погибнет без романтиков, готовых служить красоте, — это наука. Она потихоньку и погибает. Что это — глупость или измена?

И горячие профессорские головы решают: разумеется, измена. Власть желает истребить ученое вольнодумство и уничтожить потенциальных политических оппонентов. Так что же делать? Создавать политическое давление.

Что ж, дай бог нашему теляти волка съесть. Но какая сила в других государствах заставляла и заставляет власть поддерживать науку? Какие инструменты давления были у науки, например, при абсолютизме?

Карл I взял под свое покровительство знаменитое Лондонское королевское общество, которое в тот момент было независящим от церкви частным кружком, чтобы повысить свой престиж — «чтобы в будущем образованный мир видел в нас не только защитников веры, но и поклонников и покровителей всякого рода истины». Хотя ученые, подобно всякой социальной группе, выполняющей свои функции по собственному разумению, уже тогда считали себя, а не власть солью земли и тоже ничуть не скрывали своего свободомыслия. «Увеличивать власть человека над природой, — говорилось в торжественной речи по поводу пятилетнего юбилея Общества, — и освобождать его от власти предрассудков — поступки более почтенные, чем порабощение целых империй и наложение цепей на выи народов». Тем не менее, король прекрасно понимал, что научная фронда никакой опасности не представляет, ибо замешена она на аристократическом высокомерии, тайно или открыто презирающем невежественную чернь, а потому отнюдь не соблазнительном для нее, а скорее оскорбительном. Массы за такими не пойдут, а престиж государству эти надменные умники доставить очень даже могут.

Эпохи подъема науки всегда бывали и эпохами огромного уважения к науке и прежде всего не уважения простонародья, хотя на похороны Ньютона, считавшегося такой же лондонской достопримечательностью, как собор св. Павла, пришло множество простого люда, но уважения аристократии власти и родовитости. Для изящного джентльмена эпохи Ньютона считалось светской необходимостью умение поддержать разговор о воздушных насосах и телескопах, знатные дамы испускали крики восторга при виде того, что магнит действительно притягивает иголку, а микроскоп превращает муху в воробья. Возник даже особый род

научно-популярной литературы для королев и герцогинь.

В эпоху Большой Химии, когда великий Дэви читал лекции в Лондонском королевском институте, «люди высшего ранга и таланта, ученые и литераторы, практики и теоретики, синие чулки и салонные дамы, старые и молодые — все устремлялись в лекционный зал». На лекциях же не менее великого Либиха несколько высокопоставленных особ даже пострадали при нечаянном взрыве. Химики становились желанными гостями во всех салонах. Работы Дэви по электрической теории соединений были удостоены Парижским Институтом Большой премии Вольты в 1806 году, когда Англия и Франция находились в состоянии войны, самые высокопоставленные особы обоих лагерей наперебой зазывали его на обед, а в 1812 году Наполеон лично распорядился впустить его во Францию, — таков был престиж науки, от начала времен и по нынешний день являющийся главным средством ее «давления».

К Фарадею в ученицы напрашивались дамы из высшего света, а сам Фарадей, скромнейший из скромных, так ответил на вопрос правительства об отличиях для ученых: их непременно нужно выделять и поддерживать, но не обычными титулами и званиями, *которые скорее принижают, чем возвышают, ибо способствуют тому, что умственное превосходство утрачивает исключительность:* отличия за научные заслуги должны быть такими, чтобы никто, кроме ученых, не мог их добиться. Так могут ли массы видеть в научной аристократии своего союзника, разделять ее направленные на собственную исключительность психологические интересы, чрезвычайно важные для всякого единения?

Но, может быть, самим ученым дороги интересы масс? Ведь многие из них были самыми настоящими благодетелями человечества?..

«Стыдливый материалист» Гельмгольц, один из величайших классиков как физики, так и физиологии, честно признавался, что «было бы несправедливо говорить, что сознательной целью моих работ с самого начала было благо человечества. На самом деле меня толкало вперед неодолимое стремление к знанию». Гельмгольц ощущал науку не столько полезным, сколько бессмертным и *святым* делом. Даже этой рациональнейшей сферой правят святыни!

Головокружительно гениальный Пуанкаре тоже не скрывал, что не считает облегчение человеческих страданий достойной целью человеческого существования, поскольку смерть избавляет от них гораздо более надежно. Люди практические, писал он, требуют от нас способов добычи денег, но стоит ли тратить время

на такую чепуху, тогда как лишь науки и искусства делают наш дух способным наслаждаться? Говорят, иронизирует Пуанкаре, что наука полезна из-за того, что позволяет создавать машины, — нет, напротив, это машины полезны из-за того, что оставляют людям больше времени заниматься наукой! Цель же науки — красота (опять красота!), ученый стремится к поиску наибольшей красоты, наибольшей гармонии мира, и вот наибольшая-то красота и приводит к наибольшей пользе! Только неизвестно когда. И неизвестно в какой стране. Так что те, кто здесь и сейчас вкладывает деньги в фундаментальную науку (а все остальное, строго говоря, не наука), не будут иметь практически никаких преимуществ перед остальным человечеством, когда придет время собирать плоды.

Но как же выделяется бюджет на науку в демократических государствах, где электорат пользуется решающим влиянием? Неужели ему так близки поиски красоты, которой он насладиться уж никак не сумеет?

Чтобы выделять субсидии на астрономию, писал все тот же Пуанкаре, нашим политическим деятелям надо сохранять остатки идеализма. Можно бы, конечно, рассказать им о ее пользе для морского дела, но пользу эту можно было бы приобрести гораздо дешевле. Нет, астрономия полезна, потому что она величественна, потому что она прекрасна, — вот что надо говорить. Она являет нам ничтожность нашего тела и величие духа, умеющего объять сияющие бездны.

Вот тут-то мы и нащупали главный рычаг, посредством которого наука оказывает давление на общество: она рождает восхищение и гордость за человека, именно в этом заключается едва ли не важнейшая ее социальная функция — в экзистенциальной защите, в преодолении ужаса ничтожности. Ибо потребность ощущать себя красивым и значительным, причастным к чему-то великому и бессмертному ничуть не менее важна, чем потребность в комфорте, который может быть отравлен единственной каплей страха. Силы хаоса, распада всегда останутся неизмеримо мощнее всей человеческой техники, и наука дарит тем, кто сумеет ею очароваться, самые, может быть, сильные грезы, позволяющие ощутить жизнь чем-то значительным и не заканчивающимся с нашим личным существованием. Эйнштейн однажды прямо сказал, что в гармоническом мире научных теорий ищет забвения жестокой и бессмысленной реальности.

Понимаете? Ищет не адаптации к реальности, а ее забвения. Для адаптации с лихвой достаточно открытий девятнадцатого века. Да и в семнадцатом люди как-то выживали. Я имею в виду

семнадцатый век до нашей эры. Равно как и стосемидесятый. Ведь и тогда люди как-то адаптировались к реальности наравне с волками, ящерицами и амебами — и тем на выживание тоже хватало ума. К тому же причиной подавляющего большинства человеческих достижений было вовсе не стремление к улучшению жизни человечества, а желание кого-то превзойти, хотя бы самого себя.

При этом я совсем не уверен, что наши антинаучные предки наслаждались жизнью меньше нашего. Чтобы наслаждаться жизнью, нужен хороший аппетит, который невозможно сохранить, взирая без завораживающих иллюзий в поджидающую нас неотвратимую бездну. Однако, если долго и умело внушать человеку, что экономика первична, а все идеальные потребности не более чем пережиток метафизических и тоталитарных эпох, он может понемногу в это и поверить. Разумеется, лишь на сознательном уровне, томление по высокому и бессмертному его все равно не покинет, принимая форму скуки, тоски, поисков забвения в наркотиках и сектах, как религиозных, так и политических, — но бюджет-то распределяется на уровне сознания!

И если прагматизм окончательно убьет в обществе остатки идеализма, а вслед за ними и приличия, требующие этот идеализм имитировать, исчезнут последние стимулы беспокоиться о науке и культуре. А уж силой они тем более ничего не выдерут — слишком уж немногими сознательно разделяются их ценности.

Но кто, скажите на милость, столько лет проповедовал прагматизм как высшую государственную и политическую мудрость? Кто столько лет вбивал в наш тугой слух, что ценность и цена одно и то же — ценностью является лишь то, что пользуется спросом? Кто повторял и повторяет, что правительство — наемные служащие, нанятые для удовлетворения нужд населения (в массе своей абсолютно безразличного к судьбам романской филологии, экзистенциальной философии и высшей алгебры), а государство — нечто вроде службы быта, а не институт, предназначенный прежде всего для созидания и сохранения коллективных наследуемых ценностей, в число которых несомненно входят таланты наиболее одаренной части населения, — кто все это нам внушает двадцать лет подряд, если не штатные пропагандисты той лакейской и торгашеской пошлости, которую им было по уровню их дарований естественно воспринять как либеральную идею? Кем либеральная идея трактовалась не как средство самореализации наиболее одаренных, а как диктатура заурядности, осуществляемая через

рыночный спрос? Может быть, это были выходцы из КГБ? Если так, это была их самая гениальная операция со времен прославленного «Треста» — никакие коммунисты для дискредитации либеральной идеи не сумели сделать и сотой доли того, что сотворило либеральное лакейство.

И пока такая почти внерыночная и почти бесполезная, а всего лишь прекрасная, всего лишь грандиозная вещь, как наука, не станет снова ощущаться общим предметом восхищения и гордости — гордости и перед собой, и перед другими народами, — любое правительство всегда будет поддаваться соблазну отнять средства у бессильных и бесполезных для подкупа сильных и нужных.

А стать самим партией интересов, а не идеалов, ученые не смогут никогда: их слишком мало, их потребности суть потребности крайне узкой аристократической корпорации. Если аристократы духа, единого прекрасного жрецы, открыто выставят свои истинные заботы на всенародное голосование, они получат еще меньше, чем сегодня имеют от правительства. Я не хочу повторять вслед за Пушкиным, что правительство у нас единственный европеец, это не так. Но у меня есть серьезные опасения, что оно все-таки европеец в гораздо большей степени, чем тьмы и тьмы электората. Или, по крайней мере, больше заинтересовано в престиже страны.

Лучше лишний раз повториться, чем остаться непонятым: влияние ученых всегда было основано не на их политической силе, а на престиже науки. Вернуть науке ее былой авторитет — как и вообще внушить людям какие бы то ни было чувства, не приносящие лично им никакой материальной выгоды — хотя бы в какой-то мере способно только искусство. Обаяние науки было создано прежде всего поэтами в широком смысле этого слова — людьми, умеющими изобразить науку чем-то прекрасным и возвышенным. А потому возрождение науки — возрождение уважения к ней — может прийти лишь через возрождение антипрагматической культуры (впрочем, антипрагматична всякая культура, а прагматизм это именно антикультура), — задача на годы, если не на десятилетия — при том маловероятном условии, что этим займется какая-то серьезная общественная сила.

А покуда привязанность народа к науке столь несоизмеримо уступает его любви к футболу (попробовал бы кто-нибудь ликвидировать стадионы!), ей не на кого рассчитывать, кроме как на государство. Причем на его добрую волю, а не на вынужденные уступки, ибо инструментами давления ученые заведомо не располагают и при сохранении своего нынешнего авторитета в массах располагать никогда не будут.

Но пробуждать добрую волю правящего слоя, подчеркивая свою враждебность ему… «Мы ваши враги, а потому вы должны содержать нас», — такой метод агитации слишком уж парадоксален, он рассчитан разве что на святых. Не лучше ли задаться другим вопросом: а так ли уж противоположны интересы науки и власти? Так ли уж опасно неизбежное научное фрондерство и вольномыслие (как правило дилетантское, а потому утопическое, в чем его единственная опасность) для прочного государства? Нет ли у государства и науки общего и притом опаснейшего врага?

Можно назвать сразу двух — это бунт и скука, утрата экзистенциальной защиты, возможности ощущать себя красивым и долговечным. К счастью, бунт обрушивается на нас довольно редко, а потому в промежутках нетрудно делать вид, что он и вовсе не опасен. Но вот бессмысленность существования, она же экзистенциальная незащищенность, плющит рядового человека неотступно — об этом говорит кошмарное число алкоголиков и самоубийц. Успехи науки — как раз те праздники, которыми при умелом преподнесении можно было бы встряхивать монотонное существование простого человека, а заодно вербовать в ряды ученых новых романтиков. Но делается ли хоть что-нибудь в этом роде?

Я не уверен, заметило ли хоть одно средство массовой информации, что 2005 год — это год столетия не только Первой русской революции, но и специальной теории относительности (СТО). Шумихи, во всяком случае, было не слышно. Нам не до науки — мы строим капитализм, а ноблэс, так сказать, обязывает быть прагматичными. Жизнь духа должна быть рентабельной. Мы и дышать откажемся, если нам хорошенько не заплатить.

Удивительно, правда, что эпоха неудержимого роста британского капитализма (чтобы не сказать — империализма) была одновременно эпохой Ньютона и величайшей моды на все научное. И ничего, росту ВВП не препятствовало. Может, у нас потому и капитализм такой мелкотравчатый, вороватый, что совершенно лишен романтического, утопического начала? Либерализм явился к нам в каком-то кастрированном виде — не как ставка на талант, оригинальность, а как всеобщая погоня за ординарностью. В которую, похоже, вступили и ученые…

Понимающие люди разъясняют, что деньги в науку вкладывают исключительно ради ее практической полезности, однако этим они раскрывают лишь собственные мотивы, но ничего не говорят о чувствах ни самих ученых, ни тех, кто ими восхищается. Тогда как топливо всякой духовной деятельности вовсе не деньги, но — восхищение, деньги лишь техническое

средство. И у государства не станет причин поддерживать науку материально, если она не будет предметом восхищения и гордости «электората», всегда и везде состоящего главным образом из профанов, — равно как и среди футбольных болельщиков сами футболисты составляют крошечное меньшинство.

К счастью, профанам вполне доступно бескорыстие, вопреки тому, что нам столько лет внушает либеральное лакейство, — это очевиднее всех сегодня демонстрируют спортивные болельщики. Но восторг, повсюду сопровождавший создателя теории относительности, пожалуй, был недостижим даже для футбольных и эстрадных звезд. «Прагматичные» американцы бежали за автомобилем Эйнштейна, чтобы только дотронуться до священного бампера; изготовители гигиенических средств и алкогольных напитков заманивали его суммами, превосходящими тогдашнюю Нобелевскую премию, только за то, чтобы он с похвалой отозвался об их продукции: они понимали, что их потребителю будет лестно соприкоснуться с гением хотя бы и в столь опосредованной форме.

И все это при том, что открытия Эйнштейна никому из них не сулили ни малейшей выгоды: есть абсолютное время или нет абсолютного времени, евклидово наше пространство или наоборот риманово, — что, казалось бы, простому человеку эта заумная Гекуба? Но люди, самые обыкновенные люди, и тогда, и сейчас, повторяю и повторяю, хотят быть прикосновенными к чему-то великому и бессмертному. И государство, отказывающееся поддерживать науку, отказывает своим гражданам в необходимейших духовных витаминах.

Фантастический социальный успех теории относительности наводит на чрезвычайно важную догадку: авторитет науки основывается не на том, что она создает полезные вещи, а на том, что она *поражает воображение.* Все изобретатели электрических утюгов давно забыты, но живет и побеждает мифический образ Эйнштейна, потрясшего мир чудом и тайной, сотворившими и невиданный авторитет. И когда сегодня ученые мужи надеются вернуть утраченный престиж науки стандартными средствами общественного воздействия — подкупом и угрозами, то стараясь доказать свою экономическую полезность, то заговаривая о создании собственной партии, — они забывают о самом эффективном третьем пути — пути очарования, формирования коллективных мифов. Гонясь же за ординарностью, пытаясь уподобиться металлургам и генералам, ученые обречены окончательно затеряться за их несопоставимо более широкими спинами.

Научные грезы не могут выжить, не сделавшись частью грез художественных, не опираясь на чудо, тайну и авторитет. Но увы — очаровывать может лишь тот, кто сам очарован…

Похоже, дело и впрямь не столько в недостатке каналов массовой информации, уделяющих внимание науке, сколько в нехватке людей, способных изображать науку как захватывающее приключение, как волшебную сказку, — это говорю не я, это Мария Кюри. Или такие люди все-таки есть, но именно они-то и нежелательны для властителей экрана, желающих блистать самим? Имел же Александр Гордон собственную программу — и сумел-таки подтвердить, что наука есть беспредельное занудство.

Городу и миру нужны не просто ученые-профи — нужны ученые-поэты, способные не только изложить суть открытия, но и умеющие сначала пережить, а потом и изобразить его чарующей сказкой. Нужны не просто крупные открытия, крупные ученые — нужны открытия-легенды, люди-легенды. Но мы не только не создаем новых легенд — мы забываем старые.

Кажется, ни одно СМИ не заметило и дня рождения Норберта Винера (26 ноября 1894). А ведь по историческим меркам совсем недавно, в год его смерти (1964), каждый культурный человек твердо знал, что сталинские философы заклеймили кибернетику лженаукой, а потому кибернетика, наука об управлении и связи в животном и машине, есть нечто бесспорно великое и абсолютно безупречное. «Может ли машина мыслить и чувствовать?» Разумеется — чем мы лучше машины? Потребовались годы, чтобы пишущий эти строки понял: самая многосложная и утонченная машина руководствуется тем, что есть, а человек живет тем, чего нет. Человек живет не в мире фактов, а в мире выдумок, и управлять им, управлять его желаниями может лишь тот, кто управляет его фантазиями. Это не говоря уже о том, что человеческий мозг по сложности равен всей открытой нашему восприятию вселенной, ибо все, что мы о ней знаем, поставляет нам наш мозг, — у которого, стало быть, хватает на это средств. Да и вообще, чтобы машина начала мыслить, подобно человеку, бесполезно моделировать один лишь его мозг — необходимо имитировать все его тело, со всеми его физическими и социальными стремлениями: без участия тела мозг мыслить не может.

Подозреваю, что без поражающей воображение грезы о человекообразной машине не было бы и прорыва в вычислительной технике, роботизации, — в создании кибернетической сказки и заключается главная заслуга Винера перед человечеством. И все же кибернетику нельзя назвать лженаукой — прежде всего потому, что она, в отличие, скажем, от

фрейдизма или марксизма, ничего и не утверждает, не дает для управления и воспитания людей никаких конкретных рекомендаций, которые можно было бы оспорить, — кибернетика всего лишь присваивает известным вещам новые названия. Велик ли выигрыш вместо «действовать по обстановке» сказать «действовать по принципу обратной связи» или назвать информацией все, что мы воспринимаем, — от хрюканья свиньи до «Лунной сонаты». А вот вопрос «Как управлять волей и фантазией человека?», похоже, просто никогда не приходил Винеру в голову.

На человеческую волю и фантазию хотя бы в какой-то степени воздействует искусство, как институционализированное, так и диффузное, растворенное в каждом нашем эмоциональном слове, в интонации, взгляде, жесте, в каждом поступке, рассчитанном на то, чтобы произвести впечатление, — воздействует, что говорить, слабовато, но — гораздо сильнее всего остального. Воздействовать на желания человека можно, пожалуй, даже единственным способом — потрясая его воображение. Общество, не способное потрясать сердца своих граждан, не может ими управлять. Однако сегодня на смену той палаческой сказке, что человеческими желаниями управляет страх, явилась сказка торгашеская: человеческими желаниями управляет корысть. Кажется, чиновный люд, отвечающий за науку, и вправду верит, что науке не требуется ничего, кроме финансовых вливаний.

И вот тут-то небезынтересно перечитать не наукообразные кибернетические, а простые человеческие размышления Винера — истинного классика как чистой, так и прикладной математики XX века. В период финансового бума конца двадцатых его воротило с души, оттого что некоторые младшие его коллеги более внимательно следили за курсом своих ценных бумаг, чем за курсом лекций, которые они читали. Молодой Винер мечтал, что финансовый спад научит людей ценить глубину мысли и благородство поступка, а не только жирный пирог. Однако разразившийся кризис начал губить и банки, и научную работу, и моральные принципы. Ибо любовь к чему бы то ни было не порождается ни богатством, ни бедностью.

И любовь к футболу, и любовь к математике в человеке может пробудить лишь другой человек, проникнутый этой любовью и обладающий поэтическим даром для ее выражения: ученых рождают поэты, а не финансисты. С началом Второй мировой войны, когда американское государство бросило на «оборонку» неслыханные средства, науку наводнили «авантюристы, становившиеся раньше биржевыми маклерами или светочами

страхового бизнеса». Именно они и у нас отдались своему истинному призванию, когда наука перестала быть жирным пирогом. И если бы только они…

«Среди нас были педанты, любители спиртного, честолюбцы, но при нормальном положении вещей мы не ожидали встретить в своей среде лжецов и интриганов». «Мы живем в эпоху, когда соображения выгоды играют настолько исключительную роль, что подавляют все остальные». «Научные традиции, как рощи секвойи, могут существовать тысячи лет; древесина, которую мы потребляем сейчас, — результат вложений, сделанных солнцем и дождем много веков назад». И что же предлагает изобретатель науки об управлении всем на свете, чтобы побудить людей сделаться солнцем и дождем для будущих поколений? Коллективизацию!

«Огромная роща науки должна быть передана на попечение долгоживущим организациям, способным создавать и поддерживать долгоживущие ценности… Эти долгоживущие учреждения не могут требовать и не требуют немедленного превращения надежд и идеалов в мелкую разменную монету сегодняшнего дня».

Как будто корпорации способны быть более бескорыстными, чем их элиты… Без возрождения аристократии, общественного слоя, одновременно влиятельного и живущего если не вечным, то долговечным, никакого возрождения науки быть не может.

Но что же побуждает людей становиться аристократами, пренебрегать насущным во имя вечного? Я уже отвечал на этот вопрос: желание чувствовать себя красивыми и значительными, причастными великому и бессмертному.

Это одно из самых высоких и надежных наслаждений, доступных человеку.

Как и большинство других напоминаний о вечном, стодвадцатилетие со дня рождения великого датского физика Нильса Бора (7 октября 1885 года) по родной стране прошло стороной, как проходит косой дождь. Да и сколько можно повторять банальности: ну, заложил основы квантовой механики, ну, сформулировал принцип дополнительности, ну, предсказал, из каких элементов будут изготовлены первые атомные бомбы, ну, превратился в неутомимого лоббиста международного контроля за атомными программами, — кто же этого не знает?

Правда, приложение некоторых идей квантовой механики к социальной реальности могло бы привести к менее банальным выводам. Принцип неопределенности подсказал бы нам, что общество — типичнейший объект из тех, изучая которые,

невольно их разрушаешь, — разрушаешь систему объединяющих иллюзий — тот истинный базис, на котором покоится всякое общество. Принцип дополнительности, правда, можно использовать и более утешительным образом — например, в качестве обоснования философии плюрализма, ибо «противоположности суть дополнения», как отчеканено на оборотной стороне медали с профилем отца квантовой механики на стороне лицевой (эта медаль давно учреждена датским правительством и датской Академией наук).

Принцип дополнительности, как всякий громкий научный принцип, тоже породил параллельный социальный фантом, заключающийся в уверенности продвинутых гуманитариев, что корпускулярно-волновые свойства материи описываются сразу двумя взаимоисключающими теориями. Тогда как утверждение «электрон — это частица» и утверждение «электрон — это волна» отрицают друг друга не больше, чем утверждения двух слепых «слон — это колонна» и «слон — это веревка». Каждому наблюдателю открывается лишь одна из сторон истины, а потому все культуры дополняют друг друга, как незадолго до Второй мировой войны провозгласил Бор в замке Эльсинор на международном конгрессе по антропологии и этнографии, в результате чего германская делегация, уподобляясь братоубийце Клавдию, в бешенстве покинула зал. В каждой культуре есть свои плодотворные традиции, бубнил им вслед великий физик, а потому наука должна разрушать предрассудки. (Как будто традиции и предрассудки не одно и то же…)

Но и это не так уж увлекательно: ведь главное в каждом гении — с какими женщинами (а еще лучше с мужчинами) он пребывал в интимных отношениях, а именно это от нас в проклятом совке и скрывали особенно тщательно. Правда, Бор в этих отношениях для нынешней журналистики, похоже, и впрямь был бесплоден, как пустыня Аламогордо, где при его участии была испытана первая атомная бомба. Зато если бы он явился к нам в эпоху гласности, то все его легендарные заслуги заслонило бы главнейшее из главных, но наиболее тщательно скрываемое от народа обстоятельство (да шила в мешке не утаишь!): мать Бора, красавица Эллен Адлер, была еврейкой. И к тому же не просто еврейкой, но еще и дочерью известного финансиста, основателя Копенгагенского коммерческого банка.

Так что, живи Бор в нашей стране, то непременно нашлось бы кому не раз и не два указать ему, чтобы он не воображал себя равноправным членом нации. А вот глупые датчане не обращали ни малейшего внимания на его национальную неблагонадежность и тем самым вырастили его датским патриотом, любящим родной

флаг, Даннеброг, в военных конфликтах неизменно становящимся на сторону отечества и, сверх всего, способным ради него на серьезнейшие жертвы: Бор отказался от сказочного сотрудничества с великим Резерфордом, чтобы развивать теоретическую физику у себя на родине. (Такое вот средство против утечки мозгов.) И превратил-таки Копенгаген в Мекку всех теоретиков мира! А наивные датчане в благодарность осыпали его почестями, через десять лет после Нобелевской премии 1922 года предоставив ему специальный Дом чести — роскошный особняк в помпейском стиле, выстроенный для самых выдающихся граждан Дании основателем пивоваренных заводов «Карлсберг».

Непривычные у них какие-то патриоты — готовы одарять кого попало, лишь бы только он приумножал славу их государства. Вот наши патриоты-профессионалы постоянно что-то стараются отнять у своей страны — отнять деньги, которые в нее готовы нести иностранные студенты, отнять ее авторитет, который они могли бы унести к себе на родину, отнять славу нобелевских лауреатов, вынюхивая в них примесь чуждой крови… А между тем, никакого русско-еврейского межнационального конфликта в России нет, ибо у российских евреев нет никаких отдельных национальных интересов внутри России: они не претендуют ни на отдельный язык, ни на отдельную территорию (Биробиджан тщетно ждет своих сынов), ни на — что только и делает народ народом — на какую-то отдельную историческую миссию. Нет, каждый отдельный еврей, разумеется, стремится к благополучию либо самореализации и тем самым неизбежно сталкивается с какими-то русскими конкурентами, — но даже тысячи и тысячи межличностных конфликтов не могут создать одного межнационального, ибо межнациональный конфликт — это конфликт коллективных наследуемых ценностей (если кому-то не нравятся слова «грезы», «иллюзии» или «фантомы»).

Поэтому все те, кто припутывает антисемитизм к серьезной политике, ставят личное выше общественного. Несмотря на то, что индивидуализм вроде бы должен быть более распространен именно среди евреев, поскольку профессиональные патриоты слишком уж хорошо потрудились над тем, чтобы придать коллективизму черты устрашающие. Но — индивидуализм делает невозможной и еврейскую коллективную деятельность, а уж электоральное влияние евреев тем более мизерно. Если же, как это делает Солженицын, говорить об идейном их влиянии, то концентрация евреев вокруг какой бы то ни было идеи способна лишь дискредитировать ее в глазах массы.

Вот датчане показали себя истинными

государственниками: они поняли, что государству безразлично, кто именно создаст для него финансовую систему или теоретическую физику — рано или поздно все наиболее долговечные плоды достанутся датскому народу, как русскому народу в конце концов достались все дивные здания, возведенные итальянцами в Петербурге. Здания, которые еще долго будут дарить ему радость и прославлять его имя меж другими народами, как Бор будет прославлять свою Данию.

Я бы посоветовал заинтересованным в развитии науки средствам массовой информации открыть специальную рубрику «Пропущенные даты», чтоб хотя бы с укоризненным опозданием напоминать о разных исторических событиях, связанных с чем-то вечным, затерянным за блиц-вспышками звезд-однодневок. Взять хотя бы незамеченную годовщину смерти Энрико Ферми — 28 ноября 1954 года. Хотя что через полвека дает ему право на наше перегруженное внимание? Теория бета-распада? Статистика Ферми-Дирака? Ферми, правда, первым обнаружил, что медленные нейтроны более эффективно бомбардируют атомные ядра, чем быстрые; именно этим способом он заложил основы атомной энергетики и первым расщепил ядро урана. Однако сам этого, увы, не заметил и узнал о своем роковом зевке лишь во время получения Нобелевской премии (на премию и другого хватало).

И все-таки Ферми сумел попасть и в эстрадный раздел ядерной физики, 2 декабря 1942 года впервые в мире осуществив цепную реакцию на крытом теннисном корте Чикагского университета, — это был решающий шаг к практической ядерной энергетике, миру явившей себя только в Хиросиме. А в остальном для современной журналистики Ферми тоже был слишком нормален — не гомосексуалист, не садист, не онанист… Несмотря на свое прозвище Римский папа, он до поры до времени ладил даже со светской властью: Муссолини в 1929 году произвел двадцативосьмилетнего Энрико в действительные члены итальянской Академии наук, учрежденной дуче в пику фрондерствующей классической Академии деи Линчеи.

Муссолини вообще серьезно поддерживал национальную науку, которая могла прославить (и прославила) Италию в чужих и в собственных глазах. Как ни странно, именно презирающие «двуногих тварей миллионы» диктаторы часто лучше, чем гуманисты, понимают и эксплуатируют высшую человеческую потребность в величии и бессмертии. Чтобы выбить у властолюбцев почву из-под ног, наивные гуманисты стараются всячески осмеять и заклеймить эту склонность, отбить у человека охоту служить чему-то более мощному и долговечному, чем он

сам, а заниматься исключительно устройством личных дел, — то есть в одиночку влачить к неотвратимой бездне непомерный груз страхов, утрат и неудач, которыми переполнена жизнь даже самого благополучного человека… Героев, согласных на этот подвиг, находится немного, да и те, как правило, отыскивают иллюзию бессмертия в увлеченности собственной профессией. А остальные, когда у них отнимают иллюзии созидательные — чувство причастности к великим научным, техническим, спортивным, культурным свершениям, — начинают искать суррогаты бессмертия в безумных политических утопиях, переходят от грез созидательных к грезам разрушительным, ибо без грез человек жить не может.

Муссолини изначально не был таким утопическим безумцем, как Гитлер. Будучи «нормальным» диктатором, он даже надеялся, что демократический мир простит ему такую традиционную колониальную шалость, как вторжение в Абиссинию в 1935 году, в обмен на твердую антигерманскую позицию. Однако демократический мир отложил применение двойных стандартов до Мюнхена. Либеральные лидеры, наивные, как все прагматики, думали экономическими санкциями ослабить положение дуче в собственной стране, однако лишь укрепили у итальянского народа иллюзию общности судьбы с его вождем, иллюзию защиты национальной чести от международных жандармов. Самого же Муссолини толкнули к главному изгою и вчерашнему противнику Адольфу Гитлеру в качестве сначала союзника, а затем и шестерки.

В результате в 1938 году в Италии был издан «Расовый манифест», призывающий защитить чистоту «итальянской расы» от «единственного не ассимилировавшегося народа»: еврейские дети исключались из казенных школ, еврейские учителя увольнялись, еврейским адвокатам и врачам разрешалось обслуживать только евреев… Впрочем, и титульную нацию решили подтянуть: появились мундиры для служащих, карьерные затруднения для неженатых и незамужних, были изгнаны галстуки, мешающие целиться из ружья, запрещались браки с иностранцами и с евреями: возможно, лишь тогда Ферми вспомнил, что отец его жены Лауры, моряк, когда-то надеявшийся, что Муссолини покончит с социальными смутами, был евреем. И хотя дети Энрико и Лауры были крещены по католическому канону, Ферми, воспользовавшись нобелевской процедурой, перебрался в Америку, где и сделался консультантом на все руки в атомном Лос-Аламосе.

Демократия отвергла того, кем могла бы воспользоваться, фашизм выдавил тех, кто ему нисколько не мешал, — в

результате Америка первой получила атомную бомбу: в Манхэттенском проекте решающую роль играли эмигранты из Европы.

Ученый мир воздвиг Энрико Ферми памятник еще при жизни: открытый в 1953 году искусственный радиоактивный элемент с круглым номером сто получил имя фермий.

Но нам-то что до этого?

Увы, пока имена великих ученых не будут вызывать у нас восхищение, российская наука не оживет. Потому что всякое творчество питается прежде всего не деньгами, а бескорыстным восхищением, расходящаяся цепная реакция которого в конце концов и разрешается вспышками шедевров.

Но даже из этих беглых зарисовок видно, что судьба каждого большого ученого, помимо прочего, еще и высокая драма (совсем недавно мне случилось написать сценарий об академике Кондратьеве — отрываться не хотелось, готовый роман!), способная открыть и высокий драматизм самой науки — вот чем прирастает ее престиж и завлекательность для романтической молодежи. Которая и составляет авангард любого социального прорыва. Нет ничего проще, чем систематически раскрывать городу и миру драматические судьбы нынешних ученых — наших современников и сограждан. Нужно всего лишь привлечь на службу не только *специалистов по пиару,* но еще и художников.

Правда, для этого и возглавлять нашу науку должны не только бизнесмены и завхозы, но хоть отчасти еще и поэты. В душе. Этого вполне достаточно.

Ценность науки основана на чуде, тайне и авторитете. И она начинает проигрывать лженауке, то есть магии, маскирующейся под науку, когда лженаука разворачивает перед профанами более чарующие чудеса, тайны и авторитеты. Торжество шарлатанов выводит ученых из себя, и они уверяют мир, что если бы их пускали в газеты и телевидение наравне с сумасшедшими и жуликами, то они сумели бы объяснить массам, как все обстоит на самом деле. Но это, увы, глубокое заблуждение. Люди, равно как и сами ученые, прежде всего ищут экзистенциальной защиты, хотят укрыться от бессмысленности и жестокости бытия, а ученые предлагают им убежище, в котором уютно только им самим. Поэтому наука не сможет послужить экзистенциальной защитой, покуда не сумеет предстать перед хоть сколько-нибудь образованными массами прекрасной и загадочной, а не точной и скучной.

Красота и загадочность — вот истинный базис, без которого наука не получит любви, а следовательно, и финансов. Впрочем, без любви в науке и финансы не помогут, это в браке по расчету

возможно зачатие без любви. И чтобы наука сделалась предметом обожания, необходима целая контрреволюция духа, отказ от прагматизма, отказ считать рентабельность высшим мерилом красоты, истины и добра. Если требовать, чтобы каждый вздох, каждая улыбка, каждый поцелуй и взгляд на луну были рентабельными, жизнь утратит всякую прелесть, если вообще сохранится. Но, требуя от науки рентабельности, мы делаем ровно то же самое.

И, что еще хуже, сами ученые начали себя оценивать через свою полезность «народному хозяйству», считать принципиально важной свою «гражданскую позицию» в отношениях с властью. Тогда как они должны понять, что они служат вечности, а не власти и не сиюминутным потребностям населения, что они рождены «не для корысти, не для битв» и не должны зависеть ни от «царя», ни от «народа». Станут ли они по любому поводу бичевать власть или облизывать ее где только можно (и то, и другое на дилетантском уровне) — это не будет иметь к науке никакого отношения. Но зато «надмирность» ученого, его забота прежде всего о красоте и величии своего святого ремесла принесет народу самую большую пользу, какую ему не сможет дать никакой революционер или гражданин — я имею в виду чувство гордости за человека, чувство причастности к человеческому гению.

Народ, не способный одарить своих отпрысков этим сладостным чувством, может задержаться на исторической арене лишь до первого серьезного испытания. Способность порождать и ценить человеческий гений для сегодняшней России вопрос жизни.

Но для того чтобы восстановить эту способность, чтобы обуздать власть победившего лакейства, необходимо воспроизвести систему, когда-то вовлекшую в ряды физиков, математиков, биологов массу одаренных ребят, столь ценимых сегодня за пределами собственной родины. В эту систему входила и масса научно-популярной литературы, в том числе и ярко написанной, туда же входила и художественная литература, где ученые представали красавцами, а иногда и божествами (великие ученые и есть божества!), и постоянные репортажи из лабораторий, а не из лакейских…

Собственно, люди среднего возраста все это прекрасно помнят. И с радостью поделятся с теми, кому не посчастливилось жить в эту прекрасную пору.

Надеюсь, моя мечта потеснить лакейскую и лавку лабораторией не будет воспринята как ностальгия по обкомам и политической цензуре?

Если вспомнить, что сегодня главной проблемой России на международной арене является недостаточный ее престиж в цивилизованном мире, а проблемой внутренней — неуверенность населения в достоинствах своей страны, легко прийти к практическому итогу: *образовательные ресурсы сегодняшней России выгоднее всего инвестировать в производство гениев.*

То есть делать ставку на самых одаренных и романтичных, развивать те профессии, в которых куется не чье-то бабло, но бескорыстное восхищение человеческим талантом и красотой, которые только и порождают ощущение, что мы живем не зря. Россия, которую мы превзошли, по крайней мере, могла сказать себе: я живу не очень свободно, не очень чисто, но время от времени поставляю миру гениев. Совлекши с себя эту обузу, на что мы вообще будем нужны? Не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда?

Чтобы одолеть преходящее, нужно работать для вечности.

Ускользающая красота

И все-таки поэзия, красота — не слишком ли воздушные, заоблачные это разговоры, когда в Ираке, в Израиле, в Чечне каждый день взлетают на воздух автомобили, а то и люди, нагруженные взрывчаткой, — «народ борется с оккупантами». Но Лондон, Мадрид, где вроде бы никто никого не оккупирует… Нью-Йорк, в конце концов!

«Чего же ты хочешь?» — взывает цивилизованный мир к террористу: если он ищет комфорта, дадим ему комфорт, если ему нужен социальный рост — откроем ему все пути. Но мы в этой книге вместо привычного вопроса «В чем здесь выгода?» будем постоянно задаваться непривычным вопросом: «В чем здесь красота?» Красота попранная и красота воплощаемая.

И в чем же? Хотя террор — устранение или устрашение соперников — так же стар, как само человечество, однако самое первое, архетипическое убийство — убийство Каином Авеля — не было вызвано корыстными мотивами: это было убийство в борьбе за близость к Богу. Вот и современный идейный террорист лично ничего не приобретает, а вдобавок и убивает большей частью тех, кто ни ему, ни пославшим его конкретно не сделал ничего плохого. Сегодняшний террор стремится не столько запугать врагов, сколько воодушевить единомышленников: противник не так уж всемогущ и всеведущ, мы-то будем покруче! Покрасивее!

Но неужели все эти героические злодейства творятся всего только ради утоления простейшей хулиганской потребности быть лучше ненавидимым, но значительным, чем маленьким и незаметным? Это сходство слишком уж внешнее — современный терроризм гонится за удовлетворением не материальных и даже не социальных, но опять-таки экзистенциальных потребностей. Потребностей в чем-то вечном и бесспорном, позволяющем забыть о жалкой участи человека в бесконечно могущественной и бесконечно равнодушной к нему вселенной. *Страх ничтожности — вот сокрытый двигатель современного терроризма:* современный террор порождается ущемлением не материальных и даже не социальных, но метафизических потребностей человека. *Современный террорист борется не за почетное место в том или ином социуме, но за почетное место в мироздании.* Точнее за красивую картину мира, в которой он не ощущал бы своей мизерности и мимолетности.

Но зачем для этого стулья (и судьбы) ломать? Рационализированным народам этого не понять. И все-таки каждому обществу, ориентированному на достижение реальных,

«земных» целей, хочет оно того или не хочет, приходится вступать в состязание с романтическими идеологиями, предлагающими человеку иллюзорное участие в великих и бессмертных свершениях. И если даже гражданское общество, сосредоточившись на чисто прагматических задачах, не помнит о романтических соседях, оно все равно остается для них источником соблазна — особенно если оно окажется материально преуспевающим: самим своим свободным и комфортабельным образом жизни оно будет невольно намекать, что можно очень даже приятно прожить, не напрягаясь ради чего-то отдаленного и незримого. И тем самым делать смешными и нелепыми приносимые романтиками жертвы.

Не случайно же мишенью современных террористов — как внешних, так и внутренних — сделались отнюдь не деспотические и эксплуататорские, но, напротив, самые свободные и благоустроенные государства современности, где вроде бы не за что сражаться, где и так никому не дадут пропасть. И удар наносится вовсе не по власти, а именно по обществу — по случайным людям. Можно сказать, по образу жизни. По конкурентной культуре. По тому, что составляет ее гордость и красоту. И лучшие умы ломают голову, как бы превратить этот конфликт культур в диалог культур. В либеральном мире даже возникла своя риторика, в которой святая троица «диалог, компромисс, толерантность» предстает такой же панацеей, как диктатура пролетариата в марксизме-ленинизме. Но увы: толерантными и прагматичными бывают только победители, желающие спокойно наслаждаться плодами своего успеха, — побежденные же всегда их ненавидят и сочиняют самоутешительные сказки насчет того, что проиграли они исключительно из-за своего великодушия и благородства, а победители восторжествовали над ними только потому, что были подлыми и безжалостными — из компенсаторных сказок побежденных в основном и вырастают террористические химеры. Заметно увеличить количество толерантности в нашем мире (уменьшить количество потенциальных террористов) можно, лишь уменьшая количество людей, которые ощущают себя побежденными.

Однако ни в каком состязании на пьедестале почета не могут разместиться сразу многие…

В борьбе с ужасом ничтожности, в поисках экзистенциальной защиты каждый народ выстраивает такой пьедестал для себя сам, создавая свою культуру для самовозвеличивания (не только в социальном мире — в мироздании!); когда же его коллективные грезы угасают, от него первыми отворачиваются собственные

отпрыски, чувствуя, что национальные сказки уже не в силах защитить их от космического холода и одиночества.

Потому-то, вопреки либеральному катехизису, национальные культуры не сближают, но, напротив, наиболее остро разобщают нации. Я имею в виду, разумеется, не респектабельные «вершки» культур, но полубессознательные «корешки» предвзятостей и преданий, обосновывающих убежденность (всегда иллюзорную) каждой нации и включающей ее цивилизации, что именно она «самая-самая», — ради этой убежденности они и создаются.

И компромиссный диалог возможен при дележе прибыли, но не на конкурсе красоты, где победителем может быть признан только один или, по крайней мере, немногие.

А состязание народов больше похоже на конкурс красоты, чем на торг дельцов. Нации создаются и объединяются в цивилизации не ради достижения каких-то практических материальных целей, — для этого существуют промышленные и финансовые корпорации, включая криминальные, — а ради обретения (всегда иллюзорного) чувства избранности, уникальности, причастности к чему-то прекрасному, почитаемому и долговечному.

Но представляете общество, в котором избранными себя считают все? Когда конкурируют не прибыли или технологии, но воодушевляющие фантазии?

И можно ли избежать ненависти, когда конкурент пытается разрушить твое жилище? А главным жилищем всякого человека являются его иллюзии. И для них разрушителен любой рациональный анализ, любое соседство чужой сказки, обнаруживающее относительность нашей: слишком тесное соприкосновение культур всегда бывает гибельным как минимум для одной из них. Хотя культура победившая, вобравшая в себя какие-то приглянувшиеся элементы уничтоженной соперницы, уже может позволить себе великодушие, принявшись воспевать исчезнувших индейцев, черкесов или сарацинов.

Но в настоящем, вопреки либеральным химерам, чем лучше народы узнают, тем сильнее и раздражают друг друга: каждый все отчетливее понимает, что его возвышенному образу самого себя нет места в мире другого, что другой, точно так же, как и он сам, приберегает возвышенные чувства для борьбы с собственным, а не с чужим страхом ничтожности.

Конфликты иллюзий самые непримиримые, и диалог их может только обострять. Ибо и в самом деле невозможно доказать, что именно моя мама лучше всех, а моя Дульсинея самая прекрасная дама во всем подлунном мире. Возражая против этого, мы не переубеждаем, но лишь оскорбляем друг друга. А,

переубедив, уничтожаем миражи, которые только и наполняют нашу жизнь смыслом и красотой, скрывающими от наших глаз ужасную правду о нашем бессилии и мимолетности.

Но таких дураков, которые бы с легкостью позволили чужим миражам вытеснить свои, на свете нет и не предвидится.

Короче говоря, откровенный диалог культур, равно как и слишком тесное их сближение почти всегда ведут к конфликту. В котором проигрывающая сторона рано или поздно берется за оружие. И подкупить или запугать метафизического террориста социальными средствами невозможно, ибо он борется не за место в социуме, а за место в мироздании. Его можно только соблазнить. Открыв ему возможность ощутить себя красивым внутри какой-то иной грезы. Не имея новых грез, он станет защищать прежние, не щадя своей, а тем более — нашей жизни.

Ему не хватает красоты. *Именно эстетический авитаминоз порождает и самоубийцу, и наркомана, и террориста.* Им необходима *терапия красотой.*

Но, чтобы исцелять и соблазнять других красотой, мы сами должны ею обладать. Если мы будем выглядеть богатыми, сильными, но мерзкими, мы никого не исцелим, и, тем более, не соблазним.

Кроме разве что такой публики, от которой и сами не знаем как избавиться.

Однако сегодня нам не предлагают быть красивыми, нам предлагают быть толерантными. Предлагают, можно сказать, изо дня в день. До оскомины. Хотя терпимость прекрасное качество. Только каковы пределы его могущества? Что такое национальная терпимость — этический минимум или недосягаемая мечта?

Добродетель победителей

Ибо мы уже давно и не мечтаем, чтобы люди, а тем более народы, любили друг друга — мы уже согласны, чтобы они друг друга хотя бы терпели. Но терпимости и впереди что-то не видать, да и позади не просматривается никакого ни золотого, ни хотя бы позолоченного века… Терпимость слабо уживается с жаждой людей, а тем более народов, первенствовать и блистать. Красоваться.

Один из виднейших социальных философов современности Майкл Уолцер, вглядываясь в прошлое, пришел к грустному выводу: толерантность к чужим богам и обычаям впервые возникла лишь в могучих империях, поставленных (собственной историей) в необходимость держать в повиновении множество племен и народов, всегда готовых при ослаблении верховной узды начать непримиримую борьбу не только против поработителей, но и друг против друга. Относительный межнациональный мир возникал тогда, когда верховная власть оказывалась, так сказать, равноудаленной от подвластных ей этнических групп и, если так можно выразиться, равнобезразличной к их внутренним разборкам: молитесь, судитесь, женитесь, трудитесь и развлекайтесь как вам нравится, только платите положенную дань деньгами или натурой и — не вздумайте посягать на установившийся имперский порядок! Тут всякой терпимости приходил конец.

Рискну предложить общую формулу: терпимость несут в мир победители, желающие спокойно наслаждаться плодами своих побед. Униженные же и оскорбленные накапливают праведную ненависть, подкрепляя силы социальным прожектерством, или, попросту, сказками о собственной избранности и красоте. Так было, есть и будет — слабые всегда будут завидовать сильным, а побежденные ненавидеть победителей, находя утешение в наивных, но очень действенных сказках о своей доброте и честности и о злобе и подлости более успешных конкурентов. Это изменить невозможно — потребность в самооправдании, в красивом образе самого себя принадлежит к числу важнейших экзистенциальных потребностей.

Поэтому количество толерантности в мире, как уже было сказано, можно увеличивать единственным способом — уменьшая число людей, ощущающих себя побежденными. Для этого же необходимо увеличивать число критериев успеха, число карьерных лестниц, по которым можно подниматься, не задумываясь о том, выше или ниже тебя оказались люди,

карабкающиеся по другим лестницам: ранжирование людей по любому монопризнаку — по богатству, уму, красоте, храбрости — непременно приводит к тому, что половина оказывается ниже среднего уровня…

Чтобы разбить сплоченность наиболее опасных обойденных меньшинств и оставить их без лидеров, мудрые императоры старались даже облегчить социальное продвижение их наиболее энергичных, храбрых, честолюбивых и одаренных представителей. Как бы ни протестовали противники «позитивной дискриминации» из других меньшинств, менее опасных, хотя и тоже обделенных.

Но это уже, скорее, проблемы сегодняшнего дня, а в былые и еще не миновавшие времена национальная терпимость возникала и сохранялась в империях, управлявшихся имперской аристократией, достаточно прагматичной, чтобы не начинать войн из-за расхождений в метафизических вопросах, и достаточно идеалистичной, чтобы чувствовать ответственность за сохранение коллективного наследия. Имперская аристократия должна быть и достаточно патриотичной по отношению к народу-основателю (завоевателю), чтобы сохранить его обеспечивающее всеобщую стабильность доминирование, но и достаточно космополитичной, чтобы не стремиться к его тотальному господству, — поэтому она без ущерба и даже с пользой для общего дела может принимать в свои ряды и значительную долю инородцев (возможно, именно немецкая бюрократия способствовала национальной терпимости в императорской России).

Можно, пожалуй, подытожить так: избыток идеализма и мононационального патриотизма «хозяев страны», возбуждая национальное сопротивление, ведет к войнам и всеобщему одичанию, избыток цинизма и космополитизма — к распаду. И тем не менее, хранителями толерантности с древних времен были именно «хозяева», прагматичные победители, а не взвинченные побежденные, которым без экзальтированной нетерпимости просто не сплотить собственные ряды, без утопически завышенной самооценки не посметь для начала хотя бы мысленно посягнуть на торжествующую силу.

Однако в эпоху либерально-демократическую, когда прежние хозяева утратили либо власть, либо решимость, либо ответственность за коллективный миропорядок (впрочем, утрата власти очень часто бывает следствием утраты решимости или ответственности), во весь рост поднялся новый вопрос: как сохранить взаимную терпимость в доме без хозяев, не превратив его во всеобщий дом терпимости? Или, если угодно, как сохранить терпимость в доме, где хозяевами являются все.

В этом и заключается тот вызов, на который сегодняшний цивилизованный мир не знает ответа. А чтобы вернуться к прежнему, имперскому ответу, он должен отказаться от цивилизованности, как он ее понимает.

К этому, собственно, и призывают фашисты: самим разрушить ту цель, ради защиты которой они, вроде бы, и стараются ввергнуть нас в войну.

Назад к пилатчине?

Но если родоначальниками и хранителями толерантности были «господа», а не «рабы», то откуда же она бралась в домах без «господ» — во Франции, уничтожившей свою аристократию единым махом, в Америке, собственной аристократии отродясь не имевшей? Ответ прост: ни республиканская Франция, ни демократическая Америка никогда не жили без «хозяев» — без хранителей культурного генотипа, способных навязать его «пришельцам». И во Франции эти хозяева — охваченная великой грезой радикальная элита — выказала величайшую терпимость к их запросам социальным и величайшую нетерпимость к их запросам национальным. Ассимиляционный лозунг «Мы все французы!», сформировавшийся на гребне революционного энтузиазма, безупречно функционировал до самых последних десятилетий. Депутат Учредительного собрания Е. Клермон-Тоннер в 1791 году так расшифровал этот принцип применительно к самому заметному тогда национальному меньшинству: «Евреям как нации следует отказать во всем, евреев же как индивидов следует во всем удовлетворить», — Республика не может терпеть «нации внутри нации».

Это не был избирательный антисемитский жест — экстатическое национальное единство не желало признавать ни сословных (дворяне, священники), ни региональных (бретонцы, провансальцы), ни каких бы то ни было иных групповых прав (запрет рабочих ассоциаций): есть только Народ и Гражданин! Однако в ту пору пределом мечтаний немногочисленных иммигрантов тоже было социальное слияние с народом-гегемоном, а молиться своим национальным богам, читать своих национальных поэтов и лакомиться своими национальными блюдами они были вполне согласны и частным образом. Равновесие нарушилось лишь после распада колониальной империи, когда в метрополию хлынул поток прежде всего арабов-мусульман.

Отчасти из-за их количества, но еще более из-за всеобщего национального подъема, когда личность потребовала прав не только для себя, но и для своей культуры, своей истории, ассимиляция начала представляться унижением, а то и кошмаром. И это случилось именно тогда, когда хозяева почти утратили оба главных стимула ассимиляции: стало почти нечем устрашать и почти нечем соблазнять — пришельцы уже и так обладали гражданским равенством. Французских патриотов сегодня удручает желание французских мусульман носить в

общественных местах свою национальную одежду, хотя им следовало бы радоваться, что они пока что не претендуют на образовательную и территориальную автономию. Еще вопрос, удовлетворятся ли они в будущем чем-нибудь вроде «миллетов» — самоуправляющихся религиозных общин, которые допускала Османская империя для гяуров: ведь наиболее пассионарные лидеры меньшинств в глубине души нацелены не на равенство, а на превосходство…

Это общий закон: униженным и оскорбленным не свойственна терпимость.

В Соединенных Штатах подобные конфликты, казалось бы, должны были начаться сразу же, как только в страну хлынули волны итальянцев, ирландцев, греков, евреев, армян… Однако на деле каждая новая волна пришельцев встречалась с мощным квазинациональным ядром хозяев, чье право на доминирование ни у кого не вызывало сомнений, — это были потомки проникнутых протестантским духом англосаксонских отцов-основателей и примкнувшие к ним пришельцы из волн предыдущих. Американская мечта, соединенная с экономической и политической властью ее носителей, была настолько могущественной, что иммигранты и помыслить не могли поставить с нею рядом остатки своих жалких преданий. А вот когда их потомки поднялись на борьбу за права своих родословных, у хозяев не нашлось уже ни достаточно тяжелого кнута, ни достаточно сладкого пряника.

Углубление этого многостороннего конфликта сегодня патриотам-пессимистам внушает страх распада страны, превращения ее в огромную Югославию, — однако законных средств противостоять такой перспективе почти не осталось — разве что отказаться от признания каких бы то ни было групповых прав, оказывать государственную поддержку исключительно традиционной «американской» культуре. Перспективы политики столь мягкого «кнута» остаются такими же неясными, как перспективы политики «пряника» — мультикультурализма, требующего в равной степени поддерживать все культуры: надежды мультикультуралистов основываются главным образом на метафорах — «аккорд культур», «симфония культур», — хотя случайное сочетание звуков как правило бывает диссонансом, а симфония без композитора и дирижера и вовсе звуковым хаосом, в котором у барабана будут все шансы перегрохотать флейту. Сторонники философии постмодернизма на это возразили бы, что классическая симфония и звуковой хаос различаются лишь потому, что мы воспитаны в тоталитарной школе Баха и Моцарта, а вот когда мы вообще откажемся

различать гармонию и дисгармонию, норму и аномалию, тогда-то и воцарится вечный мир.

И они правы в том, что люди, преданные каким-то идеалам, часто бывают нетерпимы к покушению на их святыни. Вот если бы еще доказать, что люди, лишенные идеалов, неизменно добры и великодушны! Ведь если даже исчезнут идеалы, интересы-то все равно останутся — исчезнут лишь высшие ценности, ради которых стоит мириться с личным ущербом… Пока что видеть мир разделенным на соперничающие группы более других стремятся сами меньшинства, вернее, их лидеры, чье влияние и основывается на этом противостоянии. Однако ассоциации, образующиеся для устройства личных социальных дел (гомосексуалисты, инвалиды…) далеко не столь опасны, как национальные ассоциации, ибо последние вырастают из глубочайшей экзистенциальной потребности человека ощущать себя частью чего-то бессмертного. Поэтому многонациональные государства никогда не сумеют примирить свои национальные группы, если не заставят их поверить в какую-то новую общую сказку, которая бы не отвергала их прежние грезы, но отводила им какое-то почтенное место внутри новых. Слияние наций происходит через слияние национальных грез, а потому историю многонационального государства сегодня, когда утрачены практически все кнуты и пряники, необходимо изображать не как развитие главного ствола со второстепенными ветвями, но как слияние многих рек в одну, в чьих струях уже невозможно отделить главное от второстепенного. Отыскать красивый образ слияния задача нелегкая, но в принципе выполнимая для историков и художников всех родов искусств.

Однако найти национальным меньшинствам приемлемое для них место на новой родине недостаточно — нужно, чтобы они не чувствовали униженными не только себя, но и свою, так сказать, историческую родину. И для этого нынешним народам-лидерам — Западу в широком смысле слова, тому Западу, где межнациональные конфликты будут лишь нарастать — по-видимому имеет смысл воспользоваться уроками былых имперских народов, более других заинтересованных в стабильности мирового порядка. Прежние хозяева следили за соблюдением порядка на имперском уровне, не вмешиваясь во внутренние разборки покоренной мелюзги (пока они не грозят излиться наружу), — может быть, и новым лидерам мирового сообщества нужно больше сосредоточиться на отношениях между государствами и резко снизить вмешательство в их внутренние дела? Если даже эти дела будут оскорблять наше нравственное чувство, — возможно, такая политика окажется все-таки

наименьшим злом.

После сериала «Мастер и Маргарита», должно быть, уже все запомнили, как Пилат, всей душой сочувствуя Иешуа, все-таки не отменяет приговор национального суда. Страшно сказать, но, может быть, именно Пилат нес людям не меч, но мир…

К счастью, сегодняшний выбор можно сделать гораздо менее ужасным, предоставив Иешуа политическое убежище в метрополии. Но вот чего Пилат ни за что бы не позволил в Кондопоге: приезжим купцам иметь собственную армию, а местному населению громить этих самых купцов. Говорят, правда, что уже и сами легионеры были перекуплены приезжими — ну, если хозяева страны готовы продать свое первородство, тогда пенять не на кого.

Толерантность по расчету и толерантность по любви

И в защиту терпимости, и против нее можно сказать очень много, но терпимость как чувство нам практически неподвластна — невозможно быть толерантным к тому, что внушает страх: страх порождает ненависть совершенно автоматически. И очень часто, увы, совершенно обоснованную. В том смысле, что страх наш имеет под собой все основания…

Однако вынужденная терпимость, благодаря которой каждая из сторон готова именно лишь терпеть другие в надежде на лучшие времена, когда удастся их подмять, будет весьма хрупкой и ненадежной, если эту нужду каким-то образом не обратить в добродетель, не представить позитивной ценностью, а не просто наименьшим злом. Поэтому формирование прочной толерантности, толерантности как самостоятельной цели, а не как временного перемирия на пути к более важным целям требует таких аргументов и образов, которые изображали бы ее развитием уже давно принятых, легитимных и уважаемых ценностей, принципов и целей общества.

Скажем, таких.

Поддержание конкурентной среды: социально близкие нам группы и ценности могут укрепляться и развиваться лишь в состязании с соперничающими.

Отсутствие точных границ между пороками и достоинствами.

Холизм (органицизм): общество — сложный организм, каждая часть которого, даже нам неприятная, выполняет какую-то функцию, устранение которой наносит организму ущерб (в организме лишних органов нет).

Милосердие: уничтожение слабых социальных групп, даже и не приносящих никакой пользы, неизбежно увеличивает допустимый уровень жестокости также среди сильных и полезных.

Истина: интересы и предрассудки каждой социальной группы невольно искажают восприятие мира, поэтому всесторонняя социальная истина заведомо не может быть достигнута без уважения к мнениям, даже и радикально отличающимся от наших собственных.

Красота: эстетически привлекательный образ общества невозможен без его многообразия, которое неизбежно бывает противоречивым.

Этот пункт, пожалуй, самый сложный и для понимания, и для

исполнения. В самом деле, эстетически разнообразие не имеет никаких априорных преимуществ перед единообразием — иначе военные дизайнеры не одевали бы веками солдат в одинаковую форму и не подбирали бы их близкими по росту и типу внешности (особенно в парадные, гвардейские войска). Даже Пушкин любил «пехотных ратей и коней однообразную красивость» — но его же восхищало и национальное многообразие России, — мы вместе с ним наслаждаемся этими звуками: «тунгус и друг степей калмык», «на холмах Грузии», «от финских хладных скал»…

Собственно, это и есть единственное средство воспитания любви к разнообразию, равно как и к чему бы то ни было другому, — искусство. Воздействие искусства далеко не абсолютно, оно трогает нас лишь тогда, когда воплощает уже брезжущую в нашей душе мечту, но других средств просто не существует. К счастью, искусство — в его массовых, особенно телевизионных и кинематографических формах — не совсем уж беспомощно, поскольку и о межнациональном мире в какой-то степени мечтает почти каждый: американские фильмы, в которых изо дня в день дружат и сотрудничают черные и белые, многократно снизили уровень расовой нетерпимости. Но кто закажет такую программу несуществующему российскому Голливуду?

Увы, сегодня аристократизм, понимаемый как ответственность за общественное целое, разошелся и с богатством, и с властью… В отсутствии аристократического слоя, сочетающего в себе ответственность и могущество, пожалуй, и заключается главная проблема сегодняшней России.

Дом без хозяев

Ответственность за империю всегда несла имперская аристократия… Не означает ли это, что и мир между народами хранило то самое имперское сознание, которое многие считают источником всех прошлых и будущих бедствий многострадальной России? Вот только что же оно есть такое — имперское сознание?

Многие почтенные и либерально мыслящие социальные философы убеждены, что никакое значительное социальное явление не может прожить сколько-нибудь долго, не выполняя какой-то жизненно важной социальной функции. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и пресловутое имперское сознание, если бы все его обязанности сводились к тому, чтобы наполнять граждан или там подданных империи бессмысленной агрессией и ни на чем не основанной спесью.

Позволю себе высказать рискованную гипотезу: в основе своей имперское сознание есть ответственность не только за страну, но и за целый мир. И если второе качество предполагает стремление участвовать в управлении миром, то полная утрата первого качества неизбежно приводит к потере страны. Потому что любая страна выживает благодаря тому, что какая-то влиятельная часть ее граждан (этот слой можно условно назвать национальной аристократией) видит в ней *неделимое коллективное наследие.* Если же это наследие перестанет рассматриваться как неделимое, оно постепенно и будет поделено, использовано на текущие нужды частных лиц и социальных групп, всегда в чем-то остро нуждающихся. Поэтому коллективное наследие может быть либо неделимым, либо никаким.

На практике, конечно, делимо все — под давлением каких-то неодолимых обстоятельств народам случается отказываться и от территорий, и от языка, но если это будет дозволено изначально, они в подавляющем большинстве случаев просто перестанут существовать — если их не сохранит какая-нибудь фанатичная, не считающаяся с реальностью аристократия, как это случилось, скажем, с евреями и не случилось, скажем, с римлянами. Не хватило имперского сознания. Предались коррупции, утехам, не хотели ничем жертвовать — и их место заняли самоотверженные варвары.

В этом и заключается горькая соль проблемы: если бы от имперского сознания отказались все разом, такую перспективу еще можно было бы обсуждать, хотя и тогда для сохранения природы, как первой, так и второй (культуры), все равно

понадобилось бы рассматривать их в качестве коллективного наследия, — однако парадокс сегодняшнего, а может быть, и всякого другого времени заключается в том, что своим коллективным наследием перестают дорожить прежде всего наиболее гуманные и просвещенные страны, а их место норовят занять те, кто ничуть не сомневается в величайшей ценности своих химер и в своем праве карать отщепенцев и иноверцев…

И я не представляю, что можно противопоставить их коллективному наследию, кроме нашего коллективного наследия.

Но если должно сохраняться коллективное наследие, то должен сохраняться и его хозяин: размывание коллектива, ответственного за наследство, неизбежно приводит и к размыванию самого наследства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди, ощущающие эту ответственность наиболее остро, приглядываются с опаской, а следовательно и с недоброжелательностью к тем стихиям, которые грозят размыванию их рядов — будь это миграция или обновление нравов. Чувства эти совершенно естественны и даже необходимы для выживания любой страны, особенно в кризисные эпохи. Ужас и мерзость начинаются тогда, когда эти чувства захватывают дурака, умеющего противопоставить опасным обновлениям только топор и ложь, уже нисколько не считающуюся с реальностью. Пламенный дурак и дискредитирует окончательно те цели, которые он берется защищать: ответственность за страну начинает представляться миссией исключительно садистов, глупцов и мерзавцев, а борьба за сохранение коллективного наследия — стремлением превратить индивидуальный террор против инородцев в массовый. Ведь фашист — это всего-навсего простой человек, воспылавший страстью пресечь какие-то опасные обновления, фашизм есть бунт простоты против непонятной и ненужной сложности социального бытия.

Простота в данном случае не есть нехватка образования, простота есть всего лишь нежелание признать трагическую природу социального мироздания, в котором борются не добро со злом, а бесчисленные разновидности добра, в котором любое благое дело тонет в лавине непредсказуемых последствий.

Как часто, например, бывает, что притеснения «инородцев» наделяют их упорством и сплоченностью…

Так что, будь я идеологом какой-то несуществующей имперской аристократии, я порекомендовал бы ей, напротив, предельно облегчить индивидуальные карьеры наиболее одаренным и честолюбивым иммигрантам: выдающиеся успехи представителей национальных меньшинств среди

доминирующего народа снижают их национальную уязвленность, а также представляют соблазн для других нарождающихся лидеров не поднимать на борьбу соплеменников, но пускаться в одиночное плавание на ловлю счастья и чинов. Одиночки, даже и равнодушные к коллективному наследию, но не испытывающие к нему ненависти, не опасны для него. Если и без них хватает тех, кто им дорожит. Ну, а если их не хватает, тут уж надо, повторяю, пенять на себя.

Жизнь или честь?

Слово tolerantia на языке древних римлян, убежденных в своем праве нести в мир закон, означает терпение. И что же труднее вытерпеть — страх или унижение? Или, еще более заостряя, что важнее — жизнь или честь? Ответ на этот вопрос проводит границу между прагматической и аристократической культурой, каждая из которых несет свои приобретения и свои потери. Однако, если у каждого человека этот мучительный выбор всегда существует, то у народа, у нации его просто нет, — унижение для них и означает смерть, распад: для нации честь и есть жизнь. Нация может жить лишь аристократическими ценностями, ибо людей объединяет в нацию отнюдь не стремление к материальному комфорту, которого всегда проще достичь в одиночку, неизменно присоединяясь к сильнейшему и покидая его всякий раз, когда он начинает утрачивать могущество. Людей объединяет в нацию прежде всего стремление обрести или сохранить чувство принадлежности к чему-то прекрасному, почитаемому и бессмертному, или уж хотя бы долговечному, продолжающемуся за пределами их личного существования.

В интеллектуальных кругах, претендующих на недоступную смертным рациональность, популярна та ироническая максима, что люди стремятся примкнуть к чему-то могущественному и долговечному вследствие чувства собственной неполноценности, и эта формула совершенно справедлива — с тем уточнением, что чувство своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности должен испытывать каждый нормальный человек, обладающий хоть сколько-нибудь развитым воображением, если только он не ослепленный самовлюбленностью параноик. Лев Толстой, Бунин, Левитан переживали эти чувства с предельной остротой, и таких недочеловеков, которым они были бы полностью чужды, я думаю, не найти даже среди самых отъявленных «прагматиков» — просто они уже нашли утешение в каких-то корпоративных сектантских сказках и теперь требуют от остальных смотреть на жизнь трезвыми глазами («у меня квартира уже есть, а потому жилищное строительство пора прекратить» — ведь утешительные иллюзии и составляют главное убежище человека). Становление наций по-видимому не случайно сделалось особенно бурным именно в эпоху упадка религии, и распад их, скорее всего, сделается возможным не ранее, чем массы обретут какие-то новые формы утоления важнейшей экзистенциальной потребности — потребности

идентифицироваться с чем-то великим, почитаемым и долговечным, — кое почти невозможно представить без пышной родословной и чарующей перспективы, какие изобретает для себя каждый народ в своих грезах в периоды национального подъема.

А до тех пор национальные унижения будут переживаться гораздо более мучительно, чем личные, ибо чувство социальной ничтожности, которое пытаются в нас заронить наши недруги, почти каждый из нас имеет возможность компенсировать в кругу друзей, тогда как те, кто посягает на наше национальное достоинство, стремятся отравить само лекарство, для большинства едва ли не единственное, которое способно хоть отчасти смягчить ощущение экзистенциальной заброшенности. Думаю, самый отъявленный прагматик, которого хоть горшком назови, только в печку не ставь, испытывает какой-то болезненный спазм, когда оскорбляют его мать: образ нашей родословной для нас не менее важен, чем наш личный образ.

Я думаю, каждый относительно преуспевающий представитель каждого национального меньшинства слышал подобные утешения: не обращай внимания, это просто мелкое хамство, — ну, назвали тебя косоглазым, черномазым, жидом, чуркой — всех как-нибудь да оскорбляют: этого губастым, того рыжим-пыжим-конопатым, зато ты умнее, богаче, красивее, начальственнее… В конце концов, один знаменитый бард прямо признался, что уехал не от оскорбителей, а от утешителей, не от тех, кто называл его жидовской мордой, а от тех, кто говорил: не обращай внимания, старик, это просто мелкое хамство. Мальчишки лучше понимают, что такое достоинство, они могут сколько угодно дразнить друг друга губастыми и рыжими, но никогда не заденут мать или отца, если сознательно не нарываются на драку. Взрослые намного тупее: они начинают подсчитывать, у кого больше денег, квартир, должностей, дипломов о высшем образовании, забыв (пока речь не зайдет о них самих), что *национальное унижение ничем компенсировать невозможно. Национальное чувство может быть либо неподкупным, либо никаким.*

И если нас волнует вопрос, не нарождаются ли среди какого-то национального меньшинства экстремисты, нужно интересоваться прежде всего не тем, ощущают ли они себя сытыми и устроенными, а тем, *ощущают ли они себя красивыми.* Если нет, ждите неприятностей.

Сто лет назад интеллигентные российские евреи, уже тогда пытавшиеся сделать ставку на политкорректность (если долго притворяться, что мы не замечаем национального происхождения друг друга, национальные конфликты исчезнут сами собой),

пеняли Жаботинскому, что-де у русской интеллигенции нет своей национальной партии, в черную же сотню идет только чернь — надо и нам последовать примеру благородных русских людей, и отец российского сионизма отвечал примерно в таком духе: русские интеллигенты не идут в националистические партии по той же причине, по которой сытые люди не крадут булки с лотка. Русские в большинстве своем не ощущают угрозы своему национальному доминированию, а потому и не проявляют ксенофобии — они не боятся инородцев, потому что уверены в своей силе. А когда почувствуют неуверенность, потеряют и терпимость, потянутся в национальные партии, как это делают решительно все народы на свете, когда начинают ощущать угрозу своему коллективному наследию.

Упрекать их в этом означало бы требовать от людей, чтобы они не были людьми: терпимость приходит только к тем, кто уверен в своем могуществе. А потому и к русским национальная терпимость вернется не раньше, чем они снова почувствуют себя сильными. В этом заинтересованы все, но национальные меньшинства более других. За все либеральные попытки разъяснить русским их скромное место в мироздании будут расплачиваться прежде всего национальные меньшинства — на это у русских всегда хватит добровольцев.

Исторический опыт показывает, что до самого последнего времени (а достижения мультикультурализма заключаются главным образом в обещаниях) народам удавалось жить в относительном мире лишь в тех домах, у которых был могущественный и расчетливый хозяин. Имперская или национальная элита уверенного в себе большинства. Которая одних ассимилировала, а других разделяла и властвовала. Соблазняя потенциальных
лидеров национальных движений индивидуальными карьерами внутри имперского тела за пределами их национальных гетто — вечных питомников фанатизма и социального прожектерства. Поэтому, вместо того чтобы раздражать русских упреками в недостатке толерантности (страх за свое национальное достоинство, за свое национальное достояние рождает гнев абсолютно рефлекторно у всех народов без единого исключения), было бы неизмеримо более мудро укреплять в них уверенность, что их достоянию ничто не угрожает: толерантность — миссия сильных и уверенных.

А для культурного и политического доминирования русских и в самом деле пока что нет никакой серьезной угрозы. Мы в России пока еще почти не видели масштабных национальных конфликтов, а видели все больше межличностные, в которых

сталкивались интересы людей разных национальностей, индивидуальные, но не национальные — то есть не коллективные наследуемые интересы. Национальные меньшинства внутри России пока что не посягают ни на отдельную территорию, ни на отдельную долю во власти, ни на государственные права своего языка или собственного образования.

Однако нам в России страшно вредит наше неумение *различать доминирование бытовое и государственное, культурное.* В шахтерском поселке, где я вырос, проживало довольно много ссыльных ингушей, и они практически безраздельно царили в очередях и на танцплощадке. А потому у меня тогда и не было ни малейших сомнений, что они и есть хозяева жизни, — у меня, как, увы, и у подавляющего большинства взрослых, чьи помыслы и притязания не поднимались выше очереди и танцплощадки. Никто из нас ни разу не вспомнил о том, что этих самых хозяев сюда привезли в вагонах для скота, что они не имеют права без разрешения коменданта навестить родню в соседнем совхозе, что их нет ни в райкоме-исполкоме, ни в милиции, ни среди инженеров-учителей, — мы судили «не свыше сапога». К несчастью, и сегодня множество простых людей, чей кругозор ограничивается микромиром, сознательно или бессознательно переносят свой скромный опыт на процессы макроуровня. А потому со стороны государственной власти было бы только разумно как-нибудь ненавязчиво, но настойчиво открывать простым людям глаза на то, что ни одно национальное меньшинство в современной России ни в чем не претендует на особую долю государственного масштаба — ни на властную, ни на территориальную, ни на культурную. То есть каждый в отдельности, разумеется, стремится к какому-то социальному успеху, но коллективно, как социальная группа, меньшинства пока что не требуют никаких особых прав.

Тогда как в Соединенных Штатах Америки все это разворачивается полным ходом, а испанистская диаспора вообще наступает англосаксам на пятки: глобализация размывает не только традиционные общества, но и, обратной волной, те государства, которые ее порождают. Порождая заодно и нарастающую реакцию, захватывающую миллионы людей. Борьба пока что ведется в относительно респектабельных формах, но, поскольку интеллектуальная элита, поставившая на мультикультурализм и политкорректность, и простой народ, желающий сохранить доминирование исконного «англосаксонско-протестантского» образа жизни, оказываются по разные стороны баррикады, то весьма вероятно, что массу рано или поздно приберут к рукам крутые ребята, ставящие волю выше

интеллекта…

Это пока что не наши проблемы, но Соединенные Штаты — империя такого масштаба, что все ее серьезные внутренние конфликты обречены рано или поздно обретать всемирный характер. Отцы-основатели американской демократии вместе с продолжателями их дела до самого последнего времени были страшными ксенофобами, бдительно оберегающими американскую идентичность, а потому неуклонно стремившимися и территориально, и культурно растворить пришельцев, временами ограничивая, а иногда и вовсе прекращая их приток. Это была ксенофобия умная, добивающаяся искомого результата, понимающая, что «чужаков» надо или вовсе не допускать, или уж предоставлять им как можно больше возможностей и соблазнов устраивать свою жизнь поодиночке. Однако бывает и ксенофобия глупая, усиливающая отчужденность «чужаков», но не позволяющая от них избавиться. Конфликтующая с ними на бытовом уровне, укрепляя тем самым стену их незримого гетто, вместо того чтобы, не размениваясь на мелочи, рассредоточивать его не кнутом, но пряником, используя свое государственное и культурное доминирование.

А вот если правящая элита всех уровней вплоть до поселкового не может или не хочет воспользоваться своим подавляющим преимуществом, чтобы защитить и тех, и других, как это полагалось в истинных империях, надо и ощущать себя побежденными и преданными именно ею, а не малочисленными и — на макроуровне — почти бессильными группами «пришельцев».

Слабость сильных

Лучше лишний раз повториться, чем остаться недопонятым: нетерпимость в мир несут не сильные, а слабые, и это мало замечается лишь потому, что у них недостает сил натворить особенно много ужасов. Главные ужасы начинаются тогда, когда слабыми начинают воображать себя сильные. Реальную опасность фашизма создает не голод голодных (голод ее только обостряет), но слабость сильных. Разумеется, воображаемая.

Всякое гетто является питательной средой социального утопизма, и, к сожалению, в последние годы обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают ощущать себя русские. При этом намечаются и вполне традиционные способы разорвать унизительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (человек и может жить только в воображаемом мире). Первый способ — перешагнуть границу, сделаться бóльшими западниками, чем президент американский. Второй — объявить границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, *безгранично* преданного общечеловеческим ценностям. Третий — провозгласить свое гетто истинным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый, самый опасный — попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

А для начала хотя бы сорвать зло на отдельных чужаках, пытающихся проникнуть на ту территорию, которая представляется ее теряющим разум защитникам неким последним островком среди надвигающегося на нас чужеземного потопа — велика Россия, а отступать некуда: страх единственный источник всякой агрессии.

Сравнительно недавно мне пришлось обсуждать проблему национальной терпимости при участии двух-трех правозащитников, двух-трех авторитетных представителей национальных диаспор и некоторого количества случайной публики — хотя совсем случайные люди на такие дискуссии не ходят. Ведущий, милейший немолодой профессор, как водится, начал с того, что Россия, а в особенности Петербург всегда славились межнациональным миролюбием, хотя «инородцев» сто лет назад в процентном отношении здесь было не меньше, а больше, — почему же мы, русские, сегодня начинаем утрачивать нашу исконную национальную толерантность? Ответ «потому что мы впервые почувствовали угрозу своему национальному доминированию» так и не прозвучал, всё, как водится, тут же

свелось к обвинению и защите государственной власти (народ априорно считается неспособным ни на какую серьезную инициативу) — правозащитники и лидеры национальных общин ее обвиняли, наиболее отважные «простые люди», хотя и дрожащим голосом, но пытались ее защищать: расшатывая, мол, авторитет государственной власти, мы разрушаем ту единственную силу, которая способна защитить нас от националистического экстремизма. «Так что же, мы должны ее только хвалить?!.» — был дан дружный отпор.

Казалось, здесь никто никогда не заглядывал в то общее место, что национализм повсюду вырастал и вырастает снизу, и власть чаще всего противится ему как всякой бесконтрольной силе, пытаясь оседлать и канализировать его лишь тогда, когда возникает опасность, что в противном случае он оседлает ее сам. Об этом или никто не слышал, или отводил России какой-то особый путь: у нас национализм выращивается и покрывается властью. Однако бороться с нею, согласно правозащитному дискурсу в его юридической версии, следует ее же собственными руками: если девчушку с восточным разрезом глаз на улице оскорбляет какой-нибудь бугай, она должна тащить его в участок, прихватив под мышку двух свидетелей, и требовать возбуждения уголовного дела именем той самой власти, которая поощряет националистов. А чтобы свидетели не боялись против них выступить, нужно добиться от власти программы защиты свидетелей. Иными словами, нужно добиться, чтобы власть наконец-то начала регулярно сечь сама себя.

Немолодой грузный представитель одной из кавказских диаспор, похожий на Багратиона из «Войны и мира» Сергея Бондарчука, с горьким акцентом заметил, что завести уголовное дело об оскорблении национального достоинства практически невозможно — если тебя не унизят еще больше, уже и за это приходится едва ли не говорить спасибо, и такую безнаказанность наверняка поддерживает кто-то в окружении президента. И мне это было психологически совершенно понятно по личному опыту: допустить, что простые люди отторгают тебя по собственной воле, слишком уж обидно — гораздо приятнее сосредоточить все зло в верхних эшелонах власти.

Мне, однако, всегда становится легче, если удается убедить себя, что какая-то неприятность является не плодом личного моего невезения, но закономерным результатом некой всеобщей тенденции. И я попытался вкратце пересказать только что прочитанную книгу знаменитого Хантингтона «Кто мы?» — фундаментальное исследование раздирающих Америку полуявных-полускрытых национальных конфликтов. Однако

Багратион оказался более благородной натурой, чем я: вместо того чтобы порадоваться, что у всяких заокеанских счастливчиков неприятности еще похуже наших, он закричал: «Сколько можно слушать эту замшелую советскую пропаганду! Американская элита разработала юридический базис, а американский народ — законопослушный народ, он исполняет все законы!!! И в Америке нет национальных конфликтов!!!»

Я невольно задел его утешительную сказку, позволяющую верить, что межнациональные конфликты вовсе не норма межнационального сожительства, но продукт сознательной злой воли какой-то кучки негодяев, чью деятельность пресечь не стоит никакого труда — нужно только захотеть. По крайней мере, при таком кротком и законопослушном народе, как американский, давно забывший всякие детские шалости типа ку-клукс-клана.

На этом со свободой слова было покончено — Багратион больше не позволил никому и рта раскрыть, еще раз подтвердив, что главными носителями нетерпимости являются униженные и оскорбленные, когда сила хотя бы ненадолго оказывается на их стороне. И русская публика тоже подтвердила оборотную сторону этого закона: сила и уверенность порождают великодушие — все сидели, не поднимая глаз, а после потихоньку разошлись, не проронив ни единого упрека и никак не напомнив, что кое-кто из русских участников, как мне было точно известно, тоже собирался поговорить о своих обидах. Но разыгравшаяся печальная сцена открыла с полной очевидностью: ему больнее, чем нам, он слабее, чем мы. А слабых способны бить лишь отпетые сволочи, у нас в Петербурге, я уверен, составляющие ничтожное меньшинство. Люди только должны быть уверены, что тот, кого бьют, действительно более слаб, чем они сами. Брать же под защиту тех, кого ты считаешь сильнее себя, способны лишь очень немногие в каждом народе — равно как сочувствовать тому, кто представляется более счастливым. Можно по этому поводу грустить, можно возмущаться, — нужно только понимать при этом, что возмущаешься несовершенством человеческой природы. Повелевающей каждому принимать свои интересы ближе к сердцу, чем чужие.

Вообще-то прогрессивное человечество давно разработало благородные принципы, согласно которым сильные должны обращаться со слабыми. Но, по-видимому, ему трудно вообразить, что слабыми, униженными себя могут чувствовать и русские. По этой, а также по многим другим причинам равноправное вхождение России в престижный клуб доминирующей цивилизации дело десятилетий, если только это вообще когда-нибудь осуществится. А причастность к вечности и хотя бы не

слишком редкие восхищенные взоры мирового сообщества необходимы уже сегодня. Однако и то, и другое создается прежде всего научной и культурной элитой. Вот ее-то укрепление и развитие и является наилучшей профилактикой ксенофобии. Когда имена и достижения русских ученых, музыкантов, режиссеров, писателей, инженеров (равно как спортсменов и предпринимателей) будут почтительно повторять на международной арене — только тогда в России и начнет ослабевать то опаснейшее для всего человечества ощущение, что западный мир тоже сговорился не выпускать нас из какого-то незримого гетто. Я, повторяю, не собираюсь обсуждать, существует ли нечто подобное в реальности или это исключительно плод воспаленного воображения: в социальном мире все воображаемое немедленно становится реальностью.

Кто спорит — повышение уровня и качества жизни наиболее обделенных важнейшая гуманитарная и государственная задача. Но создание условий для развития наиболее одаренных есть вопрос национального выживания.

День стыда и бесстыдства

История показывает, что даже самые добропорядочные народы способны творить чудовищные дела, когда им кажется, что кто-то грозит отнять их значительность и красоту. Но этим делам примитивная мысль обычно приписывает более примитивные причины — экономические.

27 января — день освобождения Освенцима — в ряде европейских стран объявлен днем памяти и скорби о жертвах Холокоста. Однако чудом выживший итальянский писатель Примо Леви в тот день на лицах советских солдат-освободителей увидел прежде всего стыд, тот стыд, «который испытывает честный человек за чужую вину». А в 1987 году среди благополучнейшей жизни Леви решился на то, на что не покушался среди жизни поистине кошмарной — на самоубийство: именно запредельность ужасов и страданий не позволяла разглядеть скрытую их суть. Зато за год до того, как броситься в лестничный пролет, в своей последней книге «Канувшие и спасенные» умнейший писатель подвел итог тому опыту, который наш Шаламов считал абсолютно бесполезным (в 2009 году «Канувшие и спасенные» вышли в Москве в прекрасном переводе Е. Дмитриевой).

Примо Леви *всерьез* задал вопросы, которые прежде бесчисленное количество раз задавались как риторические: «Запомнит ли мир ужасы Холокоста? Извлечет ли из них необходимые уроки?» Ответы обычно подразумеваются бодрые типа «не забудем!» и «не повторится!» («жертвы были не напрасны!»), но Орфей, побывавший в аду, в этом далеко не уверен.

Прежде всего, сами источники коллективной памяти искажены с момента рождения. Ибо не такая уж, на первый взгляд, бедная мемуарная литература о лагерях уничтожения вся без исключения написана редчайшими везунчиками. Поскольку уцелеть можно было лишь благодаря исключительной удаче. А также систематической готовности тем или иным способом выживать за счет товарищей по несчастью — иной возможности просто не было. Не было ни единого шанса выжить и у тех гордецов, кто был не согласен с утра до вечера глотать оскорбления и удары, служившие в Освенциме просто языком общения, — тех, кто отвечал ударом на удар, забивали насмерть на месте. Поэтому люди с особенно чувствительной гордостью и особо обостренной совестью (а именно их свидетельства представляли бы главную ценность) имели наименьшие шансы

выжить, но даже и в случае такой сказочной удачи именно у них оказывался наиболее мощный стимул не раскрывать всей правды.

Поскольку они *испытывали стыд.* Да, да, вы не ослышались: *стыд испытывали жертвы, а вовсе не палачи.* Те-то лишь оправдывались: я ничего не мог сделать, я выполнял приказ, если бы не я, это сделал бы кто-то другой… Примо Леви не оставляет камня на камне от той слащавой сказочки, которой прогрессивная общественность уже целые десятилетия испытывает терпение россиян: немцы-де покаялись — берите и вы с них пример. Образцы покаяния, которые приводит Примо Леви, и впрямь могут служить примерами софистики и лицемерия. О тех массах простодушных жуликов, кто вопреки очевидности изображал слепоглухих, не стоит и упоминать, — по-настоящему интересны лишь интеллектуалы и гуманисты: у них действительно есть чему поучиться. Вина перекладывается и на атавистическую злобность человеческого подсознания, и на власть дьявола, и на роковой выбор между нацистами и коммунистами, и на хитроумную ложь гитлеровской пропаганды, и на невозможность открытого выступления при тоталитарном режиме…

Уж на что Примо Леви был невысокого мнения о роде человеческом — бесхитростную низость он давно привык считать нормой поведения перед лицом беспросветных страданий и унизительнейшей смерти, — но самооправдание под маской покаяния и его вывело из себя. Даже в его сдержанной интонации слышится звучание металла, когда он говорит, что за свою вину надо отвечать лично, не перекладывая ее на дьявола, что не нужно притворяться дурачками, делая вид, будто Гитлер хитроумно скрывал свои цели — начиная с «Майн Кампф», он играл открытыми картами: «Те, кто голосовали за него, обязательно голосовали и за его идеи. В этой книге всего хватает: там и кровь, и родная почва, и жизненное пространство, и вечный враг — евреи, и немцы, олицетворяющие „высшую человеческую расу на земле“, и другие страны, с отведенной им ролью объекта немецкого господства».

«Я понимаю, эсэсовцы, убивая евреев, действовали по приказу, но в войска СС они шли добровольно! В Катовицах после освобождения я своими глазами видел бланки заказов на бесплатное получение главами немецких семей одежды и обуви для взрослых и детей со складов Освенцима. Кто-нибудь озадачился вопросом, откуда взялось столько детской обуви?

…Будучи жителем Италии, знаю я и то, что „восставать в тоталитарном государстве невозможно“; но мне известно также, что существуют тысячи менее опасных способов выразить свою солидарность с угнетенными, и к этим способам прибегали в

Италии многие даже во время немецкой оккупации, но в гитлеровской Германии случаи выражения такой солидарности были очень редки».

И это пишет человек, давно смирившийся с тем, что в Освенциме не продавались практически только те, кого не покупали: даже немногочисленные герои сопротивления могли вести свою подпольную деятельность, лишь в той или иной степени становясь подручными убийц. Однако увертки тех, кому физически ничего не угрожает, вызывают в нем бессильный гнев. Жаль, что химик Примо Леви не додумался ввести такое понятие, как удельная подлость: величина совершенной подлости делится на величину принуждавшего к ней давления, — возможно, по этому параметру самыми большими подлецами оказались бы не члены «спецкоманд» из заключенных, обслуживавших крематории, а мирные немцы, умевшие не задумываться, куда вдруг исчезли евреи и откуда взялись поношенные вещи, мирные французы, кормившие и поившие гитлеровскую армию, мирные американцы, установившие издевательские квоты для еврейской иммиграции, но постаравшиеся даже их реализовать на десятую долю…

Вполне возможно, что по параметру удельной подлости наставники серьезно обошли бы воспитуемых, однако ни малейших признаков раскаяния ни за кем из них не замечено: они строго блюдут красоту своего национального облика, не смущаясь делать это и за чужой счет. Да, впрочем, ощутить себя красавцами и невозможно иначе, как по контрасту с уродами… Бессмысленно возвышать себя, если не принижать других.

Короче говоря, в массовых убийствах каяться начали только те, за кем нельзя было найти совсем уж никакой вины. Они и впрямь слегка покаялись в чужих грехах перед тем как выбросить их из головы.

В своем основательном послесловии «Свидетель, каких мало» известный социолог Б. Дубин отмечает, что Холокост «вовсе не относится для сегодняшних россиян к решающим событиям XX века, к его крупнейшим катастрофам». Я же со своей стороны могу добавить, что для европейцев Холокост еще и относится к числу катастроф смертельно надоевших, тех катастроф, по поводу которых в официальной обстановке нужно постоянно демонстрировать постную мину, чтобы в своем кругу изредка давать волю истинным чувствам («Да сколько же можно об этом твердить, в конце-то концов!»). Попутно отводя душу на преступлениях израильской военщины.

Да, да, постоянные преувеличения злодеяний Израиля европейской печатью — расплата за принудительные поклоны,

которые та же самая печать вынуждена отбивать жертвам Холокоста. И это, увы, тоже нормально: для каждого человека главными событиями являются события его собственной жизни. А следовательно, и собственного народа.

Попытки же заставить людей жалеть кого-то больше, чем хочется, могут вызвать лишь неприязнь и к воспитателям, и к тем несчастным, принудительного сочувствия к которым они добиваются. Эгоизм — главное свойство человека, позволившее ему выжить среди ужасающих испытаний, от начала времен ниспосылаемых щедрым провидением, и отказаться от него человеку немногим легче, чем отказаться от пищи и воды.

В человеческом мире нет ничего ненужного — все, что делается многими в течение долгого времени, делается с какой-то важной целью. Важную функцию в лагерях уничтожения выполняла и «бесполезная жестокость». Она должна была расчеловечить будущие жертвы, сделать их отвратительными: это не люди, это свиньи. Для этого и нужно было — надо, не надо — раздевать их догола, лишать отхожего места, чтобы им приходилось справлять нужду где придется. Можно ли держать за людей существа, для которых одна и та же посудина становится то ночным горшком, то емкостью для супа, которых отсутствие ложки заставляет лакать по-собачьи (после освобождения Освенцима на складах были обнаружены десятки тысяч пластиковых ложек). Штагль, комендант Треблинки, выразился с предельной ясностью: заключенных следовало лишить человеческого облика, чтобы убийцам было легче их убивать. Этой же цели служила и утилизация трупов — окончательному превращению в «человеческий материал».

Казалось бы, раз уж вы такие рациональные, не лучше ли использовать тех же евреев в военной промышленности, задыхающейся от нехватки рабочей силы? Но экономические потребности очень часто, если не как правило прикрывают потребности психологические и прежде всего экзистенциальные. Примо Леви не первый, кто отмечает, что труднее было сломить людей, обладающих верой — религиозной или политической: воодушевляющие иллюзии — тот невидимый озоновый слой, который защищает нас от безжалостного света правды, от ужаса нашей беспомощности и эфемерности. Зато нет и таких жестокостей, на которые люди не решаются, когда чувствуют опасность для своей экзистенциальной защиты — тут-то и начинаются расправы с еретиками, с уклонистами… Собственно, и уничтожение евреев было защитой воодушевляющих химер немецкого народа.

Для каждой системы воодушевляющих иллюзий обычно

имеется три главных источника опасности — так сказать, разрушительная триада: обновление образа жизни, приток носителей иной культуры (иных сказок) и рационалистический скепсис. Это и есть три источника фашизма, и евреи, на их беду, оказались причастными ко всем трем.

В этой стандартной ситуации и был запущен стандартный механизм — оборонительная триада, при помощи которой люди во все времена защищали и будут защищать свои воодушевляющие фантазии: 1) чтобы развязать себе руки, успешного конкурента объявляют врагом, 2) чтобы обесценить его мнения, его упрощают и «опускают» — лишают высоких мотивов, превращая его в сгусток корысти и злобы, 3) чтобы защитить себя от сострадания, его расчеловечивают — лишают даже и человеческого облика.

Этот механизм так элементарен, надежен и бесконечно воспроизводим, что на простые вопросы Примо Леви напрашиваются такие же простые ответы.

Запомнит ли мир ужасы Холокоста? Не запомнит, ибо помнить о них слишком мучительно. Извлечет ли из них уроки? Не извлечет, ибо они разрушат защитный слой утешительных иллюзий. Может ли это повториться? Сколько раз потребуется, столько раз и повторится. Разрушительная триада всегда будет порождать оборонительную: объявить врагом, опустить, расчеловечить.

Можно по этому поводу сокрушаться, можно негодовать, но так было, есть и будет, — немцы всего лишь показали, на что способны нормальные приличные люди, потерявшие свою защиту от ничтожности. Никакая умирающая химера не станет церемониться, стараясь нанести последний и решительный удар по источникам угрозы. В нашей власти лишь не дразнить ее сверх того, что с нею проделывает естественный ход вещей. В кризисной ситуации, когда народ подвергается мощному воздействию двух первых источников разрушительной триады — мучительному обновлению и массовому притоку чужаков, — осмеивать его защитные иллюзии означает по мере сил приближать триаду оборонительную.

В кризисной ситуации не нужно подвергать людей экзамену на великодушие, терпимость и самокритичность — они еще ни разу его не выдержали. Но нам, выросшим в годы благополучия, кажется, что все эти ужасы — принадлежность миновавших безумных эпох…

Хотя эпоха всегда одна и та же. От одних поколений к другим переходит только очередь творить безумства.

Которые так же нормальны, как и расчетливость.

Дар совершать безумства, ставить плоды своей фантазии выше наблюдаемых фактов — это главное, что отличает человека фантазирующего от животного.

О, бурь заснувших не буди!..

Эта глава была заказана автору в рамках проекта, инициированного невероятно солидной международной организацией, предназначенной хранить культурное многообразие. В частности нам, группе российских ученых и публицистов, предлагалось в специальном сборнике обсудить пути к мирному исламо-христианскому диалогу. Я собрал в единое целое холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца последних лет, по обыкновению, стараясь не отвести глаза, а, напротив, устремить их к самым пугающим проблемам, чтобы в процессе дискуссии с помощью Аллаха нащупать более мирные формы совместного проживания в одной стране и на одной планете. Однако, к изумлению моему, дискуссия не состоялась. Хранители многообразия не проявили ни малейшего интереса к многообразию в собственных рядах, они просто проголосовали и исключили статью из сборника как не соответствующую их принципам. Ибо я считал, что нужно поменьше неподготовленных людей вовлекать в диалог, а они считали, что, наоборот, побольше.

С одной стороны, мне это было привычно: при старом режиме редактору тоже достаточно было объявить, что работа немарксистская, чтобы разом покончить с нею. Но, с другой стороны, советские редакторы имитировали негодование, изображали искренних ленинцев. А эти милейшие дамы и господа ничего не изображали — не обличали, не пускались в спор, — проголосовали и пошли обедать.

Это, по-видимому, и был урок истинного плюрализма или, если угодно, политкорретности — не возражать, а изолировать несогласных. Но покуда мы в нашей варварской, не изжившей имперских симптомов и синдромов России еще не поднялись до таких высот и готовы обсуждать и совершенствовать даже то, что нам не нравится, предлагаю обсудить эту крамолу у себя дома.

Итак…

Исламо-христианский диалог в странах христианской традиции сегодня чаще всего понимают не как диалог абсолютов, а как диалог культур. При этом и в культуре обычно видят не тотальное мировоззрение, наделяющее смыслом и целями человеческую жизнь, но некое украшение, вроде глазировки на булочке. Кулинарные ассоциации, порождаемые идеей культурного диалога, настолько сильны, что круглые столы, посвященные проблеме ксенофобии, не раз на моей памяти завершались ломящимися от национальных яств прямоугольными

столами. Мирно соседствующие на единой скатерти пельмени и манты, блины и кебабы давали понять, что христианство и ислам вполне могут мирно сосуществовать не только за общим столом, но даже и на общем столе.

Можно подумать, кто-то что-то имел против кебабов…

Увы, за пределами круглых и прямоугольных столов все складывается далеко не так идиллически.

После распада объединяющей коммунистической идеологии вполне естественным образом в многонациональной России выдвинулись идеологии этнические, немедленно пожелавшие подкрепить национальную идентичность идентичностью религиозной, которая в свою очередь создала опасность усиления межнациональных конфликтов еще и религиозной составляющей.

Поэтому перед формальными и неформальными лидерами Российского государства впервые за много десятилетий во весь рост поднялась задача примирения хотя бы самых влиятельных конфессий — ислама и православия. Церковные круги давно пытаются ввести преподавание религии в школы, либеральные же круги возражают, что это было бы дискриминацией ислама и других вероучений, — тогда уж надо преподавать все вероучения разом — или хотя бы главнейшие. Пусть в одном классе мулла излагает учение Магомета, а в другом священник излагает учение Христа. А еще лучше ввести общий курс «История мировых религий», в котором каждая вера найдет место; школьники же пусть свободно избирают ту, что понравится, — или никакую.

Однако истинно верующие, как христиане, так и мусульмане, совершенно справедливо указывают на то, что курс «История мировых религий», начинающийся с анимизма и политеизма, невольно закладывает основы «слишком человеческого» отношения к вере как к части человеческой культуры, а не как к чему-то абсолютному, тогда как для верующего религия — именно абсолютная истина. А абсолютная истина не может признать, что и другая истина по-своему ничуть не хуже — плюрализм в вере автоматически порождает безверие, считают те, кто всерьез предан христианству или исламу. Тем не менее, либеральная мысль видит выход в политкорректности, которая бы не только не сосредоточивалась на христианстве или исламе, но, напротив, максимально увеличивала количество участников межрелигиозного диалога, правильно отражая позиции сторон и не навязывая ни одну из них.

Сторон… Но кто же эти стороны? Позитивисты, буддисты, иудеи, католики, лютеране, православные, шииты, сунниты, мормоны, «свидетели Иеговы», сикхи, синтоисты, приверженцы вуду и несть им числа?.. И никто никому ничего не навязывает?

Однако возникает вопрос: способствует ли миру усиление всех соперников разом? Или усиление хотя бы одного из них? Пробуждающее в остальных ревность и мечту о реванше. Но ведь нечто подобное, уверяют нас, практикуется в тех странах, которые называют себя цивилизованными, а стремление во всем им уподобиться — пусть даже для этого придется искусственно насадить проблемы, еще не успевшие вырасти естественным порядком — составляет вполне влиятельное течение нашей общественной мысли…

И вот издательство «Текст» при поддержке Министерства культуры Франции — Национального центра книги — в 2007 году выпустило в свет поучительнейшую книгу «История Бога».

Предисловие историка Рене Ремона — президента Национального фонда общественных наук и члена Французской академии начинается скромно: «растущее невежество в вопросах религии», «пагубно сказывается на передаче культурных ценностей от поколения к поколению», — однако уже в следующем абзаце это кощунственное для верующего низведение метафизики до культуры почти дезавуируется: «Религия — великая движущая сила общества: как бы далеко ни зашла секуляризация в современном мире, религия остается важнейшей составляющей в сознании личности и в судьбе народов… История показала способность религии противостоять самым упорным и длительным усилиям по искоренению веры из души народов. Произошло обратное: вера восторжествовала над отрицавшими ее системами».

Похоже, это правда — человек разумный был назван разумным слишком поспешно. Когда разум отнял у него сказки религиозные, он ударился в сказки социальные, настолько чудовищные, что возвращение к респектабельным религиям, уже миновавшим юношескую пору бури и натиска, казалось бы, может послужить неплохим противоядием. Поскольку религиозные войны нам как будто уже не угрожают.

Или все-таки угрожают? «Многие рассчитывают, — пишет Рене Ремон, — что сравнительное исследование различных религий приведет к лучшему взаимопониманию и к росту терпимости. Нам очень хотелось бы, чтобы эти ожидания оправдались». Для этого каждую религию в книге представляют не «равноудаленные» ученые с их холодными микроскопами и безжалостными скальпелями, а «выдающиеся духовные лица разных конфессий». Правда, умерших богов политеистической эры представляет не жрец Зевса или Изиды, но ординарный профессор Пьер Левек. Зато боги Африки представлены самым настоящим жрецом вуду Базилем Клиге, защитившим в Сорбонне

диссертацию в 1994 году. О богах доколумбовой Америки рассказывает профессор Тереза Буисс-Кассань. По пантеону богов Азии читателя сопровождают пандит Шастри (индуизм) и преподобный Дагпо Римпоче (буддизм). В мире же единобожия беседу ведут главный раввин армии Израиля Дени Акун, капеллан собора Парижской Богоматери Поль Гиберто и ректор Мусульманского института Большой парижской мечети Далиль Бубакер.

Наличие таких авторитетов, по мнению составителя, делает излишним представление «производных» конфессий, вроде православия или протестантизма, не говоря уже обо всяческих локальных «язычествах» и прочей периферийщине. И для читателя, взыскующего авторитета, а не истины, этого вполне достаточно. Но этого достаточно и для того, чтобы весь «салон отвергнутых» — а в России это прежде всего православная церковь — почувствовал себя смертельно оскорбленным: ведь речь идет не о социально доминирующих и периферийных культурных течениях, а об Истине с большой буквы!

Однако «История Бога» скорее всего и не борется за мир во всем мире, но лишь хочет взбодрить главные религии, увеличив при этом их приемлемость друг для друга. Задачи почти взаимоисключающие, ибо страстная приверженность собственной Истине как правило автоматически рождает неприязнь к тем, кто ее не разделяет. А столь последовательное и рациональное изучение, как уже отмечалось, мало способствует подлинной религиозности: когда перед умственным взором школьника проходят десятки абсолютно разных и одинаково не обоснованных картин мира, десятки названных и тысячи неназванных богов (Баал-Астарта-Афродита-Сарапис-Ваджрапани-Ахурамазда-Маву-Кецалькоатль…), только у самых бесхитростных не возникнет вопрос: а чем же лучше мои? Подобные книги хотя и препятствуют духовной изоляции в какой-то единоспасающей вере, чего собственно для своих адептов и желают истинно верующие мусульмане и христиане, но зато подталкивают либо к релятивизму (все религии более чем сомнительны), либо к экуменизму (все религии по-своему хороши). Даже не знаю, какая из этих позиций более неприемлема для приверженцев любого единственно верного учения, хоть христианства, хоть магометанства.

Кое-кто из высоких авторитетов даже и в самой «Истории Бога» выражается на этот счет вполне откровенно. Капеллан цитирует энциклику римского папы насчет того, что Иисус Христос — «осуществление стремлений, живущих во всех религиях мира, и тем самым он их единственный и

окончательный результат»; главный армейский раввин говорит об абсолютной ценности предписаний Торы; ректор Мусульманского института подчеркивает, что Бог милостивый и милосердный у мусульман — гораздо симпатичнее «сепаратистского и ревнивого Бога Израиля».

Представляю, как священники, муллы и раввины станут обмениваться подобными колкостями в светской школе, упрятывая жало в политкорректную вату… И будут совершенно правы, ибо ценность всякой религии именно в том, чтобы освободить человека от груза сомнений. А потому, утратив монополию, любая религия почти утрачивает метафизическую ценность, превращаясь всего лишь в одну из многих культурных традиций. И если человек хочет сохранить свою веру в неприкосновенности, ему лучше всего не выходить из круга единоверцев, как и рекомендует испытанный веками иудаизм. Чтобы избежать мучительных сомнений и судорожных попыток обесценить тех, кто эти сомнения несет, ибо важнейшая функция нашей психики — самооборона, обеспечение душевного комфорта. И если так называемый диалог культур в идеале заключается в том, что культуры держатся как можно дальше друг от друга и каждая из них *сама* выбирает у другой то, что ей приходится по вкусу, то это же в стократной степени относится к диалогу религий: из него все они выйдут потрепанными, а участники диалога — оскорбленными…

Короче говоря, иноверцев лучше держать подальше друг от друга, а образование без крайней нужды не колыхать… «О, бурь заснувших не буди — под ними хаос шевелится!»

Увы, холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца привели меня к грустному выводу: толерантности нет в человеческой природе, толерантными и прагматичными бывают только победители, побежденные же всегда перекладывают вину за поражение на победителей и мечтают тоже попасть на пьедестал почета. Однако ни на одном пьедестале почета не могут разместиться многие…

Но нельзя ли предоставить каждому народу, каждой цивилизации свой отдельный пьедестал?

Можно, если они выстроят этот пьедестал для себя сами, объявив именно его самым подлинным, самым высоким пьедесталом. Именно этим народы и занимаются в периоды своего становления — каждый народ создает свою культуру — свой пьедестал — для самовозвеличивания и сохраняет жизнеспособность лишь до тех пор, пока в нем живет коллективная вера в свою высоту: скромные народы не задерживаются на исторической арене.

Увы, чем больше народы соприкасаются, чем лучше узнают и понимают друг друга, тем сильнее и раздражают: каждый все отчетливее сознает, что его возвышенному образу самого себя нет места в мире другого, что другой, точно так же, как и он сам, приберегает наиболее возвышенные чувства для себя. Мечта о царстве всеобщей толерантности, как и всякая иная сказка о мировой гармонии, я думаю, способна сделать мир несколько добрее — покуда она из прекрасной грезы не пытается превратиться в практическую программу, — тогда она обращается в кошмар. Хотя в гомеопатических дозах — в качестве этикета — она вполне практична: научились же мы в личном общении не задевать достоинства друг друга, делая вид, что нас не разделяют никакие интересы, что для нас вовсе не важно, кто более, а кто менее богат, знаменит, красив, умен, любим, — подобная дипломатия абсолютно необходима и при общении народов. Но мечтать о том, что эта декорация способна заменить реальность с ее колоссальным неравенством и жесточайшей конкуренцией…

Словом, свой принцип взаимодействия культур я бы рискнул сформулировать так: народы должны общаться через посредство своих рационализированных элит и прагматизированных периферий, а соприкосновение национальных тел, их культурных ядер желательно свести к минимуму. Любовь культур может быть только платонической: слишком тесное сближение тел обращает ее в отвращение.

Главные трудности межкультурного общения возникают тогда, когда в соприкосновение вступают массы. Ибо у массового человека есть опасная склонность судить каждую социальную группу по наиболее вредоносным ее представителям. Чтобы уменьшить страх одной культуры перед другой, нужно прежде всего изображать вызывающих тревогу соперников слабыми, страдающими, ибо сила всегда вызывает тревогу.

Если культура не обеспечивает человека иллюзией, что он является частью чего-то «самого-самого» прекрасного и справедливого, у него исчезает мотив ее защищать, приносить ей даже скромные жертвы. И тогда она обречена на поражение и распад. А принадлежащие ей люди обречены на ужас ничтожности перед бесконечно огромным и бесконечно равнодушным мирозданием. Ибо главная задача культуры и заключается в том, чтобы создать защитный слой иллюзий, ограждающих человека от осознания собственной мизерности. А потому каждой культуре, каждой вере необходим собственный уголок, где бы она ощущала себя безраздельной хозяйкой, где в ее подзащитных ничто не пробуждало бы разрушительный скепсис, где они, не опасаясь разоблачения, могли бы

рассказывать друг другу красивые сказки про самих себя, про своих предков и потомков, — для этого нужно по мере сил избегать культурных и метафизических коммуналок. Однако сегодняшняя глобализация творит подобные коммуналки в невиданных прежде масштабах, а потому избежать столкновения упрощенных культурных ядер — столкновения массовых иллюзий — в пределах одной страны уже практически невозможно.

Каждый человек хотя бы у себя дома желает ощущать себя самым мудрым, самым справедливым и самым уважаемым. Такое возможно лишь в отдельной квартире, но никак не в коммунальной. И современный терроризм в какой-то мере может быть уподоблен высокоидейной коммунальной склоке. Культуры, готов повторять снова и снова, обогащают друг друга только на расстоянии, когда каждая добровольно берет у другой то, что ей по душе. Вспомним, как мы любили Запад издалека, как гонялись за Ремарком и Хемингуэем, как почти подпольно развивали джаз и переименовывали улицу Ленина в Бродвей! И какую настороженность, а то и вражду стал вызывать «американский образ жизни», когда россияне начали угадывать за его проникновением в свою культурную среду пренебрежение и принуждение…

Однако притормозить культурную экспансию хотя и трудно, но все-таки возможно, когда речь идет о культурах, разделенных государственными границами (впрочем, мировое сообщество тоже мало озабочено принципом культурного невмешательства). А вот как быть с культурами, оказавшимися в пределах одного государства вследствие завоеваний или миграций?

В своем стремлении дискредитировать национальные чувства, рационалистическая мысль стремится их представить бессмысленной ненавистью ко всему непохожему, Другому — как будто источником вражды являются различия. Но кто когда-нибудь слышал о вражде между блондинами и брюнетами? Между бегунами и штангистами? А различия между мужчинами и женщинами наоборот влекут их друг к другу. Потому что источником вражды является *только конкуренция,* и прежде всего это борьба за звание самого красивого, самого мудрого, самого благородного, самого древнего, самого многострадального народа в подлунном мире.

И уничтожить эту борьбу за первенство невозможно, можно разве что добиваться первенства в разных сферах. Уверяя себя, только про себя, а не вслух, что именно твоя-то сфера и есть самая главная. Так чемпион по бегу свысока поглядывает на чемпиона по штанге, тот платит ему полной взаимностью, и в результате все довольны, пренебрегая ироническим взглядом

чемпиона по шахматам. Это разделение и следует оберегать, не замахиваясь на невозможное — на дружбу народов: индивиды разных национальностей могут дружить сколько угодно, но народы дружить не могут, ибо их порождает стремление не к равенству, а к избранности.

Для того чтобы представители разных культур могли хотя бы в какой-то степени слышать, входить в положение друг друга, сильные должны осознать свою силу, а слабые — свою слабость. Сильные не должны впадать в истерику и бить мух булыжником, а слабым не следует бросать вызов тем, от чьего миролюбия зависит их судьба. Последнее, правда, наиболее мучительно для национальной гордости меньшинств, и я вовсе не предлагаю им отказаться от нее, то есть исчезнуть; я предлагаю лишь утолять эту гордость в тех сферах, где более ценится индивидуальная воля, индивидуальный талант — где можно достичь огромного личного успеха и при этом сделаться предметом любви и гордости русского большинства, как это удалось Муслиму Магомаеву, Махмуду Эсамбаеву, Высоцкому, Окуджаве, Алферову, Слуцкой…

Тем более что на международной арене их всех (нас всех) считают русскими.

Представители национальных меньшинств могут достигать сколь угодно высоких успехов в культуре большинства, не вызывая ничего, кроме любви и гордости, покуда они не ощущаются инородным вторжением в доминирующую культуру, поэтому равенство индивидов вполне возможно, но равенство культур — опасная утопия: доминирующая культура этого не допустит, разве что потерпев поражение в самой настоящей гражданской войне. «Кто в доме хозяин?» — этот роковой вопрос надолго заслонит все культурные проблемы. Конкуренция индивидов рождает только раздражение, а вот конкуренция культур — святую самоотверженную ненависть, ибо утрата чувства коллективной избранности оставляет человека беззащитным перед лицом грозной вечности. Зато если национальные меньшинства будут развивать свою культуру для собственного пользования (для чего все национальные культуры изначально и предназначены), то вполне может оказаться, что — на некотором расстоянии — ею будет очаровано и национальное большинство. Культурные различия вполне приветствуются и заимствуются всеми народами, пока это ощущается как добровольный выбор, — так вошли в русскую культуру силлабо-тоническое стихосложение, архитектурный классицизм, балет, шашлык и джаз. Но даже слабый намек на принудительность, на насильственное вторжение немедленно вызовет реакцию

отторжения.

«Малым народам» не стоит забывать о том, о чем в личной жизни с грустью помнит каждый разумный человек: что бы с тобой ни стряслось, у других на первом месте все равно будут оставаться их собственные заботы, и власть, даже благожелательная, насколько власти вообще может быть присуще это свойство, ни из-за какого «малого народа» не станет всерьез ссориться с «большим».

Поэтому даже по самым вопиющим поводам обращаться за поддержкой к народу и к власти следует совершенно по-разному, памятуя, что у них совершенно разные цели: у народа на первом месте гордость, у власти — безопасность. Обращаясь к народу, необходимо подчеркивать его великодушие и безупречность, всячески снимая с него ответственность за действия мерзавцев и психопатов, сколько бы их ни набралось («нацисты не имеют национальности» — хотя именно национальная идентичность и делает их нацистами), и всячески напирая на общую заинтересованность в спокойствии и процветании общей страны (что есть чистая правда). Власти же с предельной убедительностью нужно открывать глаза на то, что, закрывая глаза на подвиги нацистов, она наживает больше неприятностей (для себя), чем предотвращает. Ну, а по отношению к собственным врагам наша власть умеет пускать в ход даже и не вполне конвенциональные средства…

Это о разумном поведении народов «малых» по отношению к народам «большим». Для внутреннего же употребления им (нам, ибо половиной крови я и сам принадлежу к национальному меньшинству) можно дать еще один совет: меньше пафоса. Разумеется, преступления против ни в чем не повинных людей необходимо клеймить как бесчеловечные — «про себя», однако, понимая, что они очень даже человеческие, слишком человеческие: ощутив хотя бы мнимую угрозу своим воодушевляющим сказкам, ни один народ не сумел избежать безобразных жестокостей. Если не предъявлять человеческой природе завышенных ожиданий, будет и меньше поводов для обид. И если даже ты сделаешься любимцем и гордостью «большого народа», все равно до конца ты никогда не станешь своим, до конца своими могут сделаться разве что твои внуки. А лично тебя всякий откровенный культурный диалог непременно будет чем-нибудь задевать.

И с этим нужно либо смириться, либо уезжать — в любой из миров, где тебя ждут ровно эти же проблемы. Так что лучше быть терпимым к тому, чего избежать все равно не удастся. Правда, это куда легче провозгласить, чем исполнить: не имитировать

терпимость, а быть по-настоящему терпимыми удается только сильным.

Классический утопический либерализм, так возмущавший Константина Леонтьева («Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения»), надеялся прийти к гармонии через уничтожение всех национальных и сословных особенностей, а что думает об этом либерализм современный, открыто не замахивающийся на отдаленные прогнозы и, тем более, на масштабное социальное проектирование? Или и к нему тоже применимы раздраженные слова того же К. Леонтьева: «Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного»?

Впрочем, уклонение от крайностей и определенностей, может быть, и есть наилучшая тактика, когда все вступающие в диалог субъекты равно избегают крайностей и определенностей. Но если хотя бы один из них со всей определенностью и не страшась никаких крайностей стремится к доминированию, что тогда удержит сообщество от ужасов войны всех против всех, той войны, которую Гоббс считал естественным состоянием человеческого общества?

В том, что касается отношений между людьми, кажется, мало кто даже из самых либеральных либералов готов отрицать монополию на применение насилия как главное средство межличностного примирения, но когда речь заходит о существах тысячекратно более амбициозных и безответственных — о нациях, западная социальная мысль выдвигает две трудносовместимые идеи: с одной стороны, все культуры равноправны, все заслуживают сохранения и поддержки (разнообразие — один из важнейших лозунгов дня!); с другой стороны, главные будущие конфликты, скорее всего, будут конфликтами этих же самых культур. Но не означает ли это, что, поддерживая все культуры разом, мы тем самым подпитываем будущие конфликты — так сказать, вооружаем все воюющие стороны?

Классическая геополитика была более последовательной. Она стояла на ясном принципе: миром должны править сильные — ведь если передать управление слабым, они все равно не сумеют удержать власть, она неизбежно перейдет к сильным, но только через страдания и кровь — так не лучше ли прийти к этому же самому результату, минуя напрасные жертвы?

Возможно, такой итог вытекает из чрезмерно пессимистического воззрения на природу нации и человека, может быть, желание дружить ей свойственно ничуть не менее,

чем желание первенствовать, — не исключено, хотя и незаметно. Но если мы не столько мечтаем о земном рае, сколько страшимся земного ада, нам стоит почаще вспоминать, что равенство наций, равно как и равенство личностей, есть чисто умозрительный идеал, в соответствии с которым человечество еще не жило ни единой минуты. А относительный мир между индивидами удавалось установить лишь государственной власти, которая оказывалась сильнее каждого пассионария в отдельности и даже каждой группы, какую ему было по силам объединить вокруг себя. И точно так же относительный мир между народами удавалось установить лишь имперской власти, которая оказывалась сильнее каждого покоренного народа в отдельности и даже сильнее тех союзов, какие он мог бы…

Правда, такого могущества практически ни одной империи достичь не удавалось — ни одна из них не бывала настолько сильна, чтобы одолеть всех своих вассалов разом — или, по крайней мере, сделать это, не подвергая опасности собственное существование. Отсюда и родился принцип «разделяй и властвуй». А зрелые империи пришли к еще более мудрому принципу (отчетливо, по-видимому, его не формулируя): собирай подати и не трогай культуру. Это и есть наиболее безопасный диалог культур или, по крайней мере, основание к таковому — культурное невмешательство. По возможности не трогай религию, обычаи — словом, ничего из того, что относится к главной человеческой ценности — к коллективным иллюзиям. Сохрани за покоренными народами право по-своему молиться и даже судиться — разумеется, под контролем «федеральной» власти. И лучше всего управлять народами-вассалами руками их же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью входить в элиты «федеральные», тогда как гордость «плебса» будет убаюкана тем, что с чужеземцами в своей будничной жизни ему сталкиваться почти не придется.

О чем-то подобном сегодня и поговаривают прагматичные лидеры национальных общин: о праве на собственный суд — разумеется, под присмотром государства. Иными словами, если община этим правом начинает злоупотреблять, за этим последуют определенные санкции — вплоть до лишения ее этой почетной прерогативы. Но если община обеспечивает правопорядок среди своих сочленов, тогда и ее культурная деятельность станет вызывать многократно более сильную симпатию.

После побоища в Кондопоге в подобный же северный город меня пригласили поговорить за круглым столом о все той же навязшей в зубах толерантности, и глава тамошней

азербайджанской общины — милейший улыбчивый адвокат и бизнесмен с золотыми зубами, золотой мобилой и золотым внедорожником очень дружелюбно мне объяснял, что у них такое невозможно. Потому что надо работать с силовыми органами. Появляется отморозок — община сама сообщает начальнику милиции: такой-то скоро что-то натворит, прижмите, пожалуйста. Если кто-то не хочет вступать в общину — тоже никто не заставляет. Но когда случится неприятность, прибежит. И ему помогут. Но если забудется, напомнят: ты что, хочешь для нас неприятностей? Смотри, получишь их первым. И авторитет главы не оставляет сомнений в вескости его обещаний — он не из тех пожилых, явно никем не управляющих интеллигентов, каких мне случалось видеть в Петербурге во главе национальных общин.

Не стану утверждать, что эта система безупречна с точки зрения либерального права, требующего равенства перед законом и отсутствия каких-либо внегосударственных правовых структур, но несколько лет назад она работала вполне эффективно, создав некие квазиимперские структуры.

Либеральное право, само собой, не допускает подобных процедур — все должно быть дозволено либо всем, либо никому. Да и что это за нонсенс — юрисдикция по национальному признаку, который, как всем известно, должен быть внутренним делом каждого: на каких основаниях гражданин, скажем, даже и азербайджанского происхождения должен быть отнесен к азербайджанской общине, если он в глубине души считает себя русским, если не вообще гражданином мира? Лет сто назад эту коллизию пытались разрешить австромарксисты во главе с Отто Бауэром, предложив принцип национальной автономии. Именно национальной, а не территориальной — то есть автономия предоставляется национальным группам, как бы они ни были разбросаны по стране, и каждый гражданин причисляется к той или иной национальной группе по личному зову души, по его личному заявлению: прошу, мол, считать меня азербайджанцем. Таким образом каждая народность живет — и обладает правом на долю в государственном бюджете — до тех пор, пока находятся желающие продлевать ей жизнь.

Теоретически эти добровольные национальные общины и могли бы сделаться теми отдельными квартирами, в которых каждая культура могла бы безмятежно наслаждаться своей избранностью, не раздражая посторонних ушей своим самомнением, открывая им лишь свои общечеловеческие элементы. Вот только вопрос — как предотвратить хотя бы горячие конфликты между этими уникальностями? Ведь мир-то в былые времена обеспечивался отнюдь не равноправием, но

именно неравноправием: те национальные общины, которым удавалось привести своих членов к миру с социальным окружением, каким-то образом поощрялись, те, которые не сумели обуздать своих жуликов, насильников и экстремистов, лишались этих поощрений… И все это — как тогда, так и сейчас — по силам осуществить лишь «имперской» элите, заинтересованной в сохранности и процветании многонационального целого. Если же такая элита оказывается неспособной укротить кнутом или пряником неизбежные амбиции отдельных народов, она открывает путь конфликтам всех со всеми. По крайней мере, прежде всегда бывало так: или все ненавидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в мире и дружбе, или все грызутся друг с другом и мечтают о центральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглость соседей.

Итак, мы приходим к выводу, что для более или менее безопасного диалога культур необходимо прежде всего реабилитировать слово «империя», в определенных кругах уже давно превратившееся в ругательство. Главная функция имперского сознания заключается не в том, чтобы побуждать народ подминать под себя других, но, напротив, жертвовать этническими интересами во имя общегосударственного целого. То есть имперское сознание вовсе не высшая концентрация национализма, как сегодня многие привыкли считать, но, наоборот, его преодоление во имя более широкого и многосложного единства.

Когда Петр Великий открывал самые высокие государственные поприща инородцам всех мастей — это и было проявлением имперского сознания; когда российская власть включала аристократию покоренных народов в имперскую элиту, позволяя «плебсу» сохранять культурную самобытность, — это тоже было проявлением имперского сознания. Зато принудительная русификация стала торжеством национального сознания над имперским.

Хотя при этом нужно вспомнить, что националистический напор сверху в значительнейшей степени был реакцией на национально-освободительные движения снизу — проще говоря, порождался страхом утратить роль «хозяина страны».

Я вовсе не хочу кого-то осуждать — экзистенциальные интересы национальных меньшинств настоятельно требовали обретения своего угла, где доминировали бы их собственные сказки, а экзистенциальные интересы русского большинства не менее властно требовали сохранения привычной роли. Примирить эти интересы было бы чрезвычайно трудно даже в

самых благоприятных обстоятельствах, а уж в условиях распада государства, когда на волю вырываются самые безумные фантазии, и вовсе невозможно. Тут уж каждый действует в меру своих физических сил как в национально-освободительном реванше, так и в национально-охранительной мести.

Зато после всех этих кошмаров те национальные меньшинства, которым удалось сделаться большинством в собственной стране, принялись добиваться национальной однородности куда более рьяно, чем это делалось и при старом, и при новом российском режиме. Ибо в двадцатые годы едва ли не главным врагом коммунистической власти сделался русский патриотизм, окрещенный великорусским шовинизмом, поскольку именно русская химера была главной соперницей химере интернациональной. Политика «коренизации кадров», в сущности, и была невольным реваншем имперского духа. А сталинская русификация стала отступлением от него.

Хотя, вполне возможно, националистической лестью Сталин всего лишь хотел подкрепить имперский дух русского народа, давая ему понять, что он по-прежнему главный. Ибо угроза государственному доминированию неизбежно порождает националистический реванш, иначе просто не бывает.

Еще почти век назад первые сионисты, прибывающие в Палестину, всерьез обсуждали, как бы им так поделикатнее себя вести, чтобы не вызывать раздражения коренного населения, и Жаботинский тогда же с присущей ему беспощадностью ответил: никак. Никакие реверансы не помогут: «Каждый туземный народ, все равно, цивилизованный или дикий, смотрит на свою страну как на свой национальный дом, где он хочет быть и навсегда остаться полным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соучастников или партнеров по хозяйству он добровольно не допустит».

Согласитесь, и в царской, и в советской империи имперский дух русского народа все-таки допускал немалое количество соучастников и партнеров по хозяйству. Немцы, грузины очень заметно присутствовали даже в имперской аристократии. В евреях, правда, власть ощущала сильного и недостаточно лояльного идеологического и экономического конкурента и придерживала на всех поприщах, в особенности на государственном, вызывая раздражение, которое еще более усиливало как еврейскую нелояльность, так и государственное недоверие. И это было, мне кажется, как раз не по-имперски. Имперский дух требует предельно облегчать индивидуальные карьеры наиболее одаренным и честолюбивым инородцам, дабы оставить недовольные национальные группы без потенциальных

лидеров. Разумеется, никакой народ подкупить невозможно — ничего равноценного бессмертию предложить нельзя, но все-таки выдающиеся успехи представителей национальных меньшинств заметно снижают их национальную уязвленность, а также представляют соблазн для других нарождающихся вождей не поднимать соплеменников на борьбу, но пуститься в одиночное плавание на ловлю счастья и чинов. И наиболее упорные и одаренные евреи вполне могли достичь очень немалых высот в свободных профессиях, а обитатели еврейских гетто располагали значительной культурной автономией.

Понятно, что все это казалось очень и очень недостаточным, но — в те буколические времена люди еще не знали, с чем сравнивать. Прогрессивная общественность не могла простить империи кишиневского погрома, во время которого погибло около пятидесяти человек, — власть и впрямь проявила, очень мягко говоря, преступную нерешительность. Но когда эта власть пала — счет погибшим пошел на сотни тысяч.

А в Западной Европе за гражданское равенство евреи расплатились Освенцимом…

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинствам: берегите империю! Только уверенность народа-хозяина в том, что на его национальное достояние никто не покушается, обеспечивает вашу безопасность. Мне ли не понимать, что одной безопасности далеко не достаточно, есть еще и гордость, но ведь самоутверждаться вне сферы борьбы за власть можно в тысячу раз более успешно — собственно, за пределами этой толкучки и начинается самое восхитительное и долговечное, а следовательно и обеспечивающее наиболее прочную экзистенциальную защиту! А задирая русское большинство, изображая его естественный патриотизм чем-то злобным и искусственно навязанным, ставя под сомнение его право на государственное доминирование, вы все равно не добьетесь равенства сил, но лишь пробудите национальный реваншизм, — скинхеды — это еще только самые первые и, может быть, еще не самые мерзкие цветочки. Берегите имперское сознание, ибо на смену ему может прийти только сознание националистическое!

Если толерантный имперский дух еще жив в русском народе, наша задача усилить его, придав ему благородное обличье — эстетизация все-таки способна немножко видоизменять форму того, что само собой пробивается снизу.

Но известны ли случаи, когда многонациональная элита не вырастала бы из какого-то мононационального ядра «народа-хозяина»? Утратив культурное доминирование, «хозяин страны» неизбежно утрачивает и ответственность за многонациональное

целое, и его «всемирная отзывчивость» неизбежно сменяется национальным эгоизмом и глухотой к культурным нуждам других народов. Ибо к диалогу хотя бы в умеренной степени способны только сильные и уверенные в себе.

А организационные формы взаимоотношений национальных общин с народом доминирующей культуры (формы культурного апартеида) могут быть разными. Главное — чтобы они служили единой базовой стратегии: каждая культура должна быть спокойна за фундаментальное, культурообразующее чувство собственной исключительности, должна быть спокойна за свое традиционное наследие, в чем бы оно ни заключалось — в территории, в социальной функции или в образе самой себя, — только в этом случае культуры смогут, не вызывая вражды, обмениваться своими общечеловеческими элементами.

Эта стратегия требует особой деликатности в том случае, когда речь идет о традициях ислама и православия. Поскольку обе эти традиции в настоящий исторический момент испытывают чувство тревоги из-за своей неполной принятости наиболее процветающим и авторитетным ядром цивилизованного мира. Страх отверженности многократно обостряет чувствительность любой культуры даже к предполагаемому, призрачному унижению. И те взаимные неудовольствия мусульман и христиан, которые в эпохи процветания не вызвали бы серьезных последствий, в кризисную эпоху способны привести к серьезнейшим конфликтам.

Однако исподволь, ничего не декларируя вслух, очень даже стоило бы развивать специальное (но не выделенное организационно) направление в литературе, в популярной (воодушевляющей) истории, в кино и телевидении, которое сосредоточивало бы внимание на светлых эпизодах взаимодействия мусульман и православных, на сотрудничестве их в каком-то общем благородном деле, на противостоянии какому-то общему врагу…

Программу такого рода мог бы довольно быстро разработать небольшой коллектив, включающий в себя историков, культурологов, а также художников слова и экрана, ощущающих принадлежность разным традициям, но испытывающих желание преодолеть свою особость во имя более многосложной культурной целостности. Интеллектуальные, культурные элиты мусульманской и христианской традиции для начала должны научиться вести диалог в собственном узком кругу, создавая синтетическую систему умиротворяющих образов, и лишь затем обращаться с ними к массовому сознанию.

Но, к сожалению, прийти к согласию относительно каких-то

наименее опасных принципов диалога культур даже самим интеллектуалам мешает то самое подчинение интеллекта потребности в душевном комфорте, которое является главным препятствием для диалога масс. Даже многие интеллектуалы не желают видеть неустранимого трагизма социального бытия, то есть конфликта всех ценностей, включая самые возвышенные и желанные. Эта полунамеренная слепота и заставляет во всех мучительных ситуациях искать какую-то панацею, какой-то ключ, который открывал бы разом все замки.

В последнее время одной из таких панацей сделалось слово диалог: предполагается, что все конфликты можно умиротворить, если конфликтующие стороны сумеют каким-то особо мудрым образом вступить в диалог друг с другом. В подтверждение приводят те или иные экзотические примеры мирного сожительства наций или конфессий, не замечая при этом, что социальные группы, говорящие на разных языках, вовсе не обязательно являются нациями: нацию создает, как я однажды выразился в «Исповеди еврея», вовсе не язык или территория, а общий запас воодушевляющего вранья. То есть система наследственных иллюзий, осуществляющих
коллективную защиту населения от экзистенциального ужаса.

Мирное соседство швейцарцев, говорящих по-итальянски и по-немецки, никак не послужило примирению Италии и Австрии во время Первой мировой войны, равно как мирное соседство армянина и азербайджанца за одним столом в профсоюзном санатории ни в коей мере не смогло предотвратить Карабахский конфликт.

К сожалению, даже интеллектуалы часто не различают конкурентных и неконкурентных ситуаций и способ примирения, пригодный в ситуациях неконкурентных, надеются с успехом применить в ситуациях острой конкуренции.

А между тем, мировая и даже внутригосударственная конкуренция, хотим мы того или не хотим, неизбежно разделяет народы на более успешные и менее успешные. И если чисто материальную неуспешность перенести было бы сравнительно легко, особенно если она не меняет существенно привычного образа жизни, то неуспешность экзистенциальную перенести почти невозможно. Ибо наша ущемленность в миру открывает нам глаза на нашу ничтожность в мироздании. И в этих случаях метафизика служит стремлению побежденных взять реванш над победителями. Грубо говоря, победители заинтересованы в том, чтобы признать существующий порядок вещей справедливым, а побежденные заинтересованы ровно в обратном. И всякая попытка прийти к компромиссу будет восприниматься

побежденными как призыв признать свое поражение заслуженным.

Диалог должен строиться совершенно по-разному в зависимости от того, какого рода интересы скрываются за внешне «объективными» аргументами. При конфликте *материальных интересов* диалог вполне возможно вести в терминах прибылей и убытков, доказывая, что мир выгоднее войны, — а заодно искать условия взаимовыгодного мира. При конфликте *мнений,* которые относятся к вопросам, не являющимся вопросами жизни и смерти (таковы в большинстве своем научные прения), можно указывать оппоненту на новые факты и слабые места в его логике. Но при конфликте *иллюзий* — идеологий, метафизических систем — нужно прежде всего понять, какими интересами они порождены.

Метафизические системы порождаются стремлением придать универсальный характер собственным психологическим интересам, и самой глубокой потребностью человека является потребность преодолеть ужас собственной мизерности и мимолетности, присоединяясь к чему-то великому и долговечному. Поэтому, вступая в метафизические дискуссии, следует более всего опасаться выказать сомнение в величии и долговечности того, в чем оппонент находит психологическую защиту. Особую осторожность должны проявлять более защищенные, то есть более преуспевшие. Как раз им-то не следует ни в коем случае даже ставить на обсуждение собственную метафизику, поскольку она как правило предназначена для оправдания того самого порядка вещей, который разрушает экзистенциальную защиту проигравших. Напротив, им следует объяснять свой выигрыш случайностью, подчеркивать достоинства оппонента и мудрость его метафизического самооправдания…

Ну, словом, вести себя так, как каждый деликатный человек ведет себя с менее преуспевшими коллегами.

Надо лишь помнить, что деликатность не может уничтожить расхождения интересов, равно как ущемление экзистенциальных потребностей этноса не может быть уничтожено политкорректной имитацией слепоты.

Поэтому империя позволяет индивидам удовлетворять экзистенциальные потребности в национальных общинах, допуская их автономию в той степени, в какой это не угрожает имперскому целому — вернее, угрожает в меньшей степени, чем отсутствие автономии. И лично мне представляется меньшей опасностью совместное проживание меньшинств, организованных в общины, во главе которых стоят авторитетные, располагающие

рычагами давления, и рациональные лидеры, принадлежащие одновременно и к имперской элите соответствующего уровня — районного, муниципального, регионального, федерального. Чтобы внутри общин их члены могли утолять свои экзистенциальные нужды, а за их пределами социальные. Грубо говоря, внутри красовались, а снаружи зарабатывали.

Да, мы не властны замкнуться, мы не властны отменить такие явления, как миграция, международное сотрудничество, межнациональные браки, прогресс средств транспорта и коммуникации, интернационализация элит и т. д., и т. п. Но в нашей власти создавать условия для самоорганизации соседствующих меньшинств, к которой они и без нас тяготеют, и демонстрировать этим общинам преимущества позитивного сотрудничества с интернационализированной властью. Это осуществить очень непросто, на этом пути наверняка лежит множество ухабов, но, скорее всего, именно здесь пролегает путь к наименьшему злу.

За минимальность которого приходится вступать в борьбу каждый день заново без надежды когда-либо окончательно победить. Но сегодня сложилась редчайшая ситуация, когда рациональные оказались сильнее иррациональных. И этим нужно пользоваться не только внутри страны, но и, как выразился бы товарищ Чапаев, в мировом масштабе.

Эхо Цхинвала

Символический реваншизм

Все сколько-нибудь интеллигентные люди еще задолго до перестройки пересмотрели главные ценности советской истории — и Ленина, и Сталина, и сам социализм, — кажется, одно только освобождение Европы от фашизма мы продолжали ощущать как безусловное наше благодеяние, и когда до нашего открывшегося миру слуха вместо благодарностей стали доноситься упреки — среди моих друзей я не знаю никого, кто не испытал бы шока.

История Второй мировой войны и в самом деле до крайности богата как воинскими подвигами, так и военными преступлениями, четко различить которые заведомо невозможно, ибо военная целесообразность редко согласуется с правом, создаваемым в мирное время для разрешения конфликтов с неизмеримо более низкими ставками. Если подойти с умом — прокурорским умом, — то преступлениям стран-победительниц действительно не будет конца: любое дело и впрямь можно оценивать как по достижениям, так и по издержкам, как по намерениям, так и по результатам, как по ближайшим последствиям, так и по отдаленным, как по законам, так и по совести. А совесть такая вещь, которую люди постоянно стараются пробудить в других и заглушить в себе.

В результате при каждом праздновании каждой годовщины каждой громкой победы к поздравлениям всегда примешиваются обвинения. Когда-то обличения и впрямь вызывали желание взглянуть на себя построже, получше изучить мрачную изнанку своих побед, но сейчас они не порождают почти ничего, кроме раздражения. Особенно если обвинители отыскиваются в «странах-жертвах», капитулировавших в такой короткий срок, который не оставлял времени ни для побед, ни для сопутствующих им правонарушений. А когда список российских прегрешений адресуется либеральному Западу, это раздражает вдвойне.

Ибо подавляющее большинство россиян считают наш уход из Восточной Европы, отказ от большей части военных приобретений вполне достаточным (и недостаточно оцененным) жестом доброй воли, не говоря уже о том, что ни один народ в принципе не может надолго признать чей-то иной суд над собой, кроме собственного, поскольку для каждого народа это серьезный

шаг к распаду — ведь любую нацию объединяют, главным образом, возвышающие обманы, очаровывающие лишь ее самое. В итоге каждый новый список российских прегрешений уже давно порождает не самокритичность, но лишь волну встречных обвинений: «А судьи кто? Кто сами прокуроры?»

На ивангородском книжном фестивале известный московский журналист Игорь Шумейко подарил мне свою нашумевшую книгу «Вторая мировая. Перезагрузка» (М., 2007), в которой он, так сказать, предъявляет встречный иск — он обвиняет судей и обвинителей в экономическом коллаборационизме. Придумав для этого хлесткий образ «Адольф Гитлер как трастовый управляющий ЗАО „Европа“». И убедительно показывая, что европейское Сопротивление есть явление микромира, тогда как передача Гитлеру практически в полной сохранности промышленного и сельскохозяйственного потенциала есть явление макромира, явление, без которого немецкий фронт захлебнулся бы в считаные месяцы.

Правда, в нынешнем политкорректном мире не принято вспоминать о столь неприятных обстоятельствах: что же им еще оставалось? Не сражаться же до последнего солдата с использованием военно-полевых судов и заградотрядов, не забивать же собственный скот, не сжигать же собственные поля, не взрывать же собственные заводы — это «фанатизм и дикость». Варварский выход из правового поля. Несчастная Чехия, выданная Гитлеру «мюнхенским сговором», сегодня представляется беспомощной и безоружной страной, населенной мирными пейзанами, бессильными против немецких танковых армад. Однако в реальности «к осени 1938 года Германия довела численность армии до 2 миллионов 200 тысяч человек, при 720 танках и 2500 самолетах. Отмобилизованные вооруженные силы Чехословакии насчитывали 2 миллиона солдат и офицеров, при 469 танках и 1582 самолетах» — и базировались на горных оборонительных сооружениях, внушавших противнику столь серьезные опасения, что часть германской военной верхушки планировала даже переворот, чтобы избежать вполне возможного разгрома. Однако заговор рассосался сам собой, когда «союзники» вынудили чехов отдать Судеты без боя.

Официальное заявление Лондона 18 сентября 1938 года: «Следует отдать Германии те районы, где немцев более 50 %. Без этого невозможны гарантии Чехии в ее новых границах». Мотивировка: «Если понадобятся оправдания перед определенными кругами, расценивающими это как постыдную капитуляцию перед германскими угрозами, то это можно объяснить нашей постоянной приверженностью принципу

самоопределения наций». Комментарий британского заместителя министра иностранных дел: «Фактически за Германию ультиматум чехам предъявляли мы».

Бдительно при этом отстаивая их имущественные интересы: как будет компенсирована стоимость зданий и сооружений, которые отойдут Германии? Правда, когда дело дошло до дележа судетского скота, Гитлер взорвался: «Наше время слишком драгоценно, чтобы тратить его на такие банальности!» Что эти жалкие овцы! Именно на чешских заводах и были в значительной степени созданы еще не существовавшие к моменту «сговора» гитлеровские танковые армады. В послесловии ко «Второй мировой» Лев Аннинский пишет, что если бы ему было известно количество дошедших до Сталинграда танков «Мэйд ин Чехия», он бы знал, что ответить чешским изгнанникам на их упреки за советские танки в Праге в 1968 году.

Лично мне и сейчас неловко за эти танки, и все же заключение Л. Аннинского ясно показывает, какова педагогическая эффективность требований принудительного покаяния — вместо пристыженности возникает обида, порождающая в свою очередь желание морального реванша: да вы и сами не лучше! Раздражение становится еще острее, когда одному народу ставят в пример другой, упорствующим в грехе русским — покаявшихся немцев. Верно, те, кто не убивал и даже не соседствовал с убийствами, в основном покаялись. Отказавшись тем самым от роли извергов рода человеческого, тогда как русским предлагают отречься от роли спасителей человеческого рода.

Любой нашкодивший народ может отказаться разве что от какой-то своей наиболее опозорившейся части, чтобы немедленно ощутить себя очистившимся. И дабы не умножать лицемерие и взаимное озлобление, не лучше ли смириться с тем, что ни один народ никогда не каялся так, чтобы это не было первым шагом к самооправданию.

Я понимаю, сердцу не прикажешь: тем, кто ощущает неутолимую обиду на Россию, невозможно запретить изливать ее и искать мести хотя бы в какой-то символической форме. Но ведь помимо сердца есть и разум! В эпоху Хельсинкских соглашений тоже далеко не все были довольны сложившимися границами — и все-таки нашли возможным прекратить территориальные споры, чтобы наконец перейти к мирной жизни. Так неужели же у миролюбивых сил нет никакой возможности как-то пригасить, маргинализировать реваншизм символический?

А между тем И. Шумейко при всех памфлетных крайностях,

не ставящих иной цели, кроме как отплатить обидчикам, предлагает и два важных принципа, на которых могли бы примириться все.

1. Не война служанка политики, а политика служанка войны.

2. Так называемая Большая Война не сводится к конкретным военным действиям, но простирает свою власть на многие годы вперед и назад, надолго выводя политику из юрисдикции мирного времени.

Попытки же осуждать злодеяния Большой Войны избирательно лишь мешают нам наконец-то оставить ее позади целиком. Выйти из Большой Войны народы Европы могут либо все вместе, либо никто, — с последствиями Большой Войны можно покончить только оптом, а не в розницу.

Но для этого всем нужно успокоиться — военные неврозы лечит только покой. Однако с тех пор как помягчевший Советский Союз протянул Западу руку дружбы, покой нам только снится…

Кровавый спорт

В первые дни грузино-осетино-российской схватки, когда суждения лидеров еще не отлились в максимально неуязвимые пропагандистские клише, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер с досадой обронил что-то вроде «Россия развернула масштабный конфликт с микроскопическими ставками». Проговорившись тем самым, что ни один серьезный человек не поверит, чтобы другой серьезный человек мог посчитать достойной ставкой спасение чьих-то экзотических жизней. Какая-нибудь там нефть, территория на весах международной дипломатии смотрятся гораздо солиднее! Ведь на ледяных политических олимпах царит холодный цинизм и голый расчет!

И, тем не менее, рациональных оснований для войн у великих держав — держательниц ядерного оружия давно уже нет: все, что можно завоевать, сегодня гораздо дешевле купить. Сегодня ни территория, ни ресурсы (пресловутая «нефть», из скромного энергоносителя превратившаяся в символ) не определяют богатства народов. Ибо главным его источником уже давно сделался человеческий капитал, — косвенным свидетельством чего является высокая ценность жизни в общественном мнении развитых стран: потери, по поводу которых Наполеон лишь обронил: «Одна ночь Парижа их покроет», сегодня бы низвергли любое правительство.

Поэтому главной целью развитых стран стала безопасность. И это было бы чудесно, если бы высокая ценность человеческой жизни сделалась пацифистским тормозом для всех государств разом. Но поскольку в мире остается удручающе большое и едва ли не увеличивающееся число режимов, не ставящих человеческую жизнь ни во что в сравнении с великими идеологическими и государственными целями, то угроза вожделенной безопасности исходит именно от них. А потому в сегодняшнем мире главная линия борьбы пролегает между иррациональностью и рациональностью, и с этой точки зрения Россия и Запад должны быть союзниками, ибо при всех пороках обеих сторон наши общества все же в огромной степени являются человекоцентрическими, а не идеоцентрическими.

И все-таки на радость своим истинным врагам они позволяют втянуть себя в холодную войну из-за фантомов, из-за ценностей времен Древнего Рима и Карфагена. Хотя сегодняшние ценности требуют ровно обратного, они требуют рациональным и сильным объединяться против иррациональных и слабых. Однако пока что мы наблюдаем обратное: похоже, рациональность сама впала в мессианизм, обратившись, таким образом, в свою противоположность, да еще и вообразила, что может поставить иррациональность себе на службу, вербуя из ее рядов надежных марионеток. Которые на деле способны работать лишь на самих себя, из года в год натягивая нос своим создателям: иррациональные Давиды — от Кастро до Бен Ладена (о тех, что слишком близко, мы лучше помолчим) — десятилетиями используют квазирациональных Голиафов в своих сверхчеловеческих амбициях и даже ухитряются в глазах простаков выглядеть жертвами.

В итоге борьба за безопасность сделалась главным источником опасности. Стремление к идеальному и вообще лучший способ разрушить сносное — если бы каждый из нас задумался, каким образом он мог бы сделать своих конкурентов абсолютно не опасными для себя, он очень скоро пришел бы к выводу, что их для этого необходимо истребить всех до единого. А поскольку они в своем стремлении к той же самой цели прекрасно понимали бы ход наших мыслей, то и они немедленно пришли бы к выводу, что спастись они могут, лишь опередив нас. Имея на своей стороне то весьма убедительное оправдание, что их действия были всего лишь превентивными.

Некий уровень взаимного недоверия, взаимного страха неизбежно стимулирует агрессию, в которой каждая сторона совершенно искренне ощущает себя жертвой, а вопрос «Кто первый начал?» всегда трактует в свою пользу. Поскольку и в

самом деле ни один исторический процесс не имеет начала: прежде чем перейти к «горячей войне» участники конфликта годами, если не веками, обмениваются уколами и ударами, каждый из которых при желании может быть истолкован как казус белли. В итоге нам пришлось бы ответить: первым начал Каин, — но и он наверняка возразил бы, что Авель его спровоцировал.

Словом, ставить вопрос «Кто виноват?», захвативший на удивление много умов в фокус-группе моих добрых знакомых, — вернейший способ превратить любой межнациональный конфликт в безысходный. Там, где сталкиваются две разных морали, моральный подход абсолютно аморален. Не мораль, но лишь целесообразность дает какие-то шансы на примирение. Цинизма мне, цинизма! Однако квазирациональный мир, похоже, забыл, что его реальная цель — безопасность, а не такие фикции, как нефть или контроль над теми или иными территориями. Ибо если дойдет до большой драки, все равно никто ничего проконтролировать не сможет (много ли наконтролировали американцы в Ираке или мы в Афганистане?), а добывать нефть ценой безопасности в сегодняшнем мире означает питаться кусками собственного тела.

Но именно это и делает цивилизованный мир, воображающий себя форпостом разума в океане фанатизма. Он забыл, что на весах лежат не полусимволические приобретения в том или ином региональном конфликте, а — без преувеличения! — жизнь человечества. Ибо никакие ракеты и радары, никакое введение новых членов в старые мехи и союзы никого ни от чего не спасет: как друзья вы ни садитесь, ядерная зима накроет всех, и живые будут завидовать мертвым. Вся эта мелкая коммунальная склока, кого куда подвинуть и кого за кем усадить, ни в малейшей степени никого не защитит от гибели, а приблизить ее очень даже может.

И если еще недавно главной причиной войн был избыток страха народов друг перед другом, то сегодня причиной мировой войны может сделаться его недостаток. Цивилизованный мир так долго не участвовал в глобальных войнах, что перестал верить в их реальную возможность. Не замечая вследствие этого, что трехдневная стрельба на Кавказе в сравнении с тем, что в реальности лежит на весах, лишь незначительный эпизод в опаснейшей Большой Игре, более всего напоминающий предупредительную стрельбу в воздух. Ту самую стрельбу, роль которой хорошо понимали бабелевские налетчики: если не стрелять в воздух, можно убить человека.

Конечно, это кощунственно — покупать безопасность ценой

сотен человеческих жизней, но раз уж это все равно произошло, хотелось бы, чтобы они погибли не напрасно и цивилизованный мир наконец как следует перепугался. И перестал считать абсолютно бесполезную коммунальную возню планетарного масштаба борьбой за безопасность. Ибо этот увлекательный геополитический спорт на самом деле есть не что иное, как игра со смертью.

Голиафы против Давидов

Я с младенчества усвоил либеральные принципы: все народы, все культуры заслуживают равного уважения, но в случае конфликта нужно быть на стороне слабого, на стороне Давида против Голиафа. И лишь в последние годы во мне вызрело страшное подозрение, что каждый народ создает свою культуру для собственного, а не чьего-либо иного возвеличивания. А потому все национальные культуры стремятся не к равенству, а к первенству. Но поскольку в любом состязании в круг победителей могут войти лишь самые сильные, то и оказывается, что нетерпимость в мир несут не сильные, а слабые, не Голиафы, а Давиды, ищущие реванша за свое реальное или воображаемое унижение. А значит, в том, чтобы не обижали сильных, более всего заинтересованы слабые, ибо все обиды сильные выместят прежде всего на них. И наоборот: будучи спокойны за свое доминирование, сильные будут не только заинтересованы в сохранении мира, но и сумеют его обеспечить — от чего в первую очередь выиграют опять-таки слабые. Они сохранят жизнь, имущество, но национальное достоинство им придется обретать не на силовом пути. Они могут добиться того, чтобы считать себя самыми умными, самыми благоустроенными, самыми храбрыми наконец — но считать себя самыми сильными им не удастся. А попытки бросить вызов Голиафам могут их разве что лишить и всего остального: спокойствие сильных — залог общего выживания. Именно сильные, а не слабые, вопреки Ницше, несут в мир если уж не доброту, то хотя бы терпимость.

Оберегать прежде всего достоинство Голиафов — это ужасно нелиберально, но лучше мир неравных, чем нескончаемая война равных. Даже коммунистическая власть в свое время тоже довольно скоро поняла, что равенство граждан вещь более или менее возможная, но равенство культур опасная утопия — возможна и необходима лишь декорация этого равенства при фактическом доминировании самого сильного. И после

десятилетий страшного террора национальное замирение удавалось поддерживать столь малой кровью, что наивным людям этот вынужденный худой мир до сих пор представляется дружбой народов. Однако в советской империи простор открывался только личным, но не национальным амбициям, а потому все брюзжали, но оставались живы.

Нечто подобное можно было бы осуществить и в мировом масштабе под эгидой кучки рациональных Голиафов, если бы сами Голиафы не взращивали друг против друга пламенных Давидов, увеличивая число игроков на международной арене, что уже само по себе затрудняет возможность разделения сфер контроля, и, что еще хуже, увеличивая его за счет пассионариев, готовых ставить на карту даже собственную жизнь, не говоря уже о прочей человеческой плотве.

Рано или поздно кто-то из сбросивших ярмо Давидов наконец сумеет-таки ввергнуть человечество в мировую войну, если, к счастью, немногочисленные и относительно рациональные Голиафы не осознают, что главную опасность для каждого из них представляют не другие Голиафы, которым есть много что терять, а бесчисленные Давиды, которым терять, как им кажется, почти нечего. Если каждый Голиаф станет держать в узде своих героев и не подзуживать чужих, мир получит шанс на новую передышку. На собак волка в помощь не зови, кажется, так выражался Солженицын? Использовать в собственных целях национальный реваншизм так же невозможно, как извлечь выгоду из атомной войны — национальные пассионарии могут работать только на себя.

Но если отказ от использования ядерного оружия как-то можно зафиксировать в международных договорах, то отказ от использования энергии национального реваншизма может хотя бы отчасти контролироваться лишь мировым общественным мнением, которое в значительной степени либерально. И вот для него-то, вопреки либеральному же принципу «закон один для всех», считается справедливым поддерживать национализм слабых наций и осуждать национализм сильных, закрывать глаза, когда слабые нации нарушают права человека в борьбе против сильных, и немедленно открывать их, когда ровно то же самое делают сильные, — и этим поддерживать скрытую и явную борьбу всех против всех до бесконечности.

«Сильные должны удерживать слабых от разнузданности, а потому они должны становиться все сильнее», «Сильные не должны раздражать слабых своей силой, а потому они должны становиться все слабее» — каждая из этих парадигм имеет свои плюсы и свои минусы, но их совместное применение, как это

делается сейчас, объединяет только минусы. Строгать доски в новой бане или не строгать, спорили евреи в одном местечке: если не строгать, будут занозы, если строгать, будет скользко… И раввин принял компромиссное решение: доски строгать, но класть строганым вниз.

Похоже, современная цивилизация и есть тот самый раввин.

Влюбленный свинопас

Зато наши отношения с ней более всего напоминают историю несчастной любви.

После Цхинвала один мой друг поделился со мною опасением, что теперь-то нас наверняка не примут в ВТО. Меня это тоже встревожило. Мы все знаем, что Россия уже бог знает сколько лет вступает в ВТО, и верим, что это нужно. Точнее сказать, прагматическая цель не всем ясна, зато символическая до предела очевидна: нам следует быть вместе со всем цивилизованным миром. И если для этого мы должны соответствовать каким-то его нормам, значит надо поднапрячься и сдать эти нормы. Сдавали нормы ГТО — сдадим и нормы ВТО. Мы должны вступить в ВТО и в НАТО не для того, чтобы торговать и воевать, а для того, чтобы принадлежать к избранному кругу.

Таким вот представало общественное мнение в фокус-группе моих хороших знакомых, сплошь интеллигентных и демократически ориентированных, поскольку никакие другие не желают со мною знаться. Однако в последние годы они дружно и согласованно ворчат все громче и громче. То где-то засудили наших спортсменов (этим страстно возмущались милейшие женщины, всегда считавшие спорт развлечением для идиотов); то наложили арест на наше судно (при Советах они не заметили бы ареста всего нашего флота, да и в этом случае почли бы, что мы сами каким-то образом напросились); то…

Впрочем, подобный список может составить каждый, для кого честь страны не пустой звук, а саднящая язва.

Но сдача норм ВТО оказалась едва ли не самой истязательской — каждый раз чего-нибудь да не хватало. Чего — мало кто знал да не слишком и любопытствовал, — как во всяком наметившемся противостоянии, на первое место вышел другой вопрос: кто был за нас и кто против? Если против оказывались какие-то новые члены — сразу вспоминалось, что если бы не наша добрая воля, им бы век воли не видать (все мы ходили на

митинги в их защиту, а нам никто спасибо не сказал), если старые — вспоминалось, как мы со всей душой раскрыли им мирные объятья (зачем нам армия, кто на нас нападет, иронизировали над наивными профанами стратегические умы), а они принялись расширяться во все стороны…

«Это пустяки, в совместном бизнесе такие штуки в порядке вещей: сегодня ты подвинул партнера — завтра он тебя, сегодня он тебя кинул по мелочи — завтра ты его», — так скажет циник и будет совершенно прав: столь романтические категории, как благодарность-неблагодарность, верность-неверность, в серьезных делах будут только множить взаимные претензии, в бизнесе лучше руководствоваться соображениями взаимной выгоды.

В бизнесе — но не в любви! А мы хотели именно любви.

Однако отвергнутую любовь простить неизмеримо труднее, чем ущерб материальный. Ибо отвергнутая или, скажем мягче, недооцененная любовь унизительна, а для всякого народа длительное унижение смерти не просто подобно, но оно и есть сама смерть. Поскольку народы создает не корысть, но гордость. Каждый народ сохраняет жизнеспособность лишь до тех пор, пока ощущает себя избранным. По крайней мере — принадлежащим кругу избранных. А тот круг народов, в котором царит согласие об их совместной избранности, по-видимому, и можно назвать пышным словом «цивилизация».

И войти в круг избранных — совсем не то, что войти в какое-то деловое предприятие. В деловое предприятие идут не за любовью, не за признанием, не за повышением самооценки, и если прибыль ты получаешь наравне со всеми, но твои достоинства не находят там признания, — это всего лишь досадно. А вот пребывание в дружеском застолье будет совершенно отравлено, если хоть один из пирующих объявит, что не желает сидеть с тобой за одним столом. Особенно если и остальные не станут одергивать обидчика слишком пылко.

Любовь в политике — опаснейшая вещь, ибо она слишком легко переходит в ненависть. Я уже давно с тревогой ждал, когда же наконец рванет, и дай бог, чтобы взрыв в Осетии не отозвался еще более страшными взрывами. Ибо разрыв любовной связи, если даже любил кто-то один, куда опаснее, чем распад коммерческой структуры. А ведь бескорыстная любовь дело не частое даже между лицами противоположного пола — между народами же она просто невозможна, каждый народ живет собственной грезой, взаимное их признание возможно лишь как признание принадлежности к общему кругу, к некоему престижному клубу.

Европа, а затем и Россия уже наблюдали нечто подобное

более ста лет назад, когда самая продвинутая и энергичная часть молодежи из еврейского гетто ринулась в блистающий мир, где ее приняли не настолько ласково, как ей грезилось. Нет, если подходить по-деловому, возможности для карьеры все равно открывались невиданные, но ведь любовь не может смотреть по-деловому…

Самым гордым было невыносимо чувствовать себя второсортными пускай в одном, но крайне болезненном пункте — национальном, в котором люди черпают свои важнейшие иллюзии — иллюзии могущества, бессмертия и красоты. Можно было бы, конечно, посоветовать этим гордецам быть поскромнее, но бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию…

Освободиться от унижения можно было двумя уже перечисленными путями: можно было дойти до полной самоотверженности по отношению к тому престижному клубу, куда тебя не принимают, сделаться европейцем из европейцев (русским из русских), но можно было попытаться и разрушить этот клуб. Для этого открывались тоже два пути — объединить все народы в один клуб, без Россий, без Латвий (путь коммунизма), или разложить все национальные общности на атомы (путь либерализма), — пассионарные евреи, как известно, отличились на обоих этих путях. Но был и третий путь — завести свой собственный клуб (сионизм).

И духовный лидер российского сионизма Владимир Жаботинский первоочередной задачей провозгласил пробуждение национальной гордости: нам нужно освободиться от унизительной влюбленности в русскую культуру — влюбленности свинопаса в царскую дочь. Этот третий путь в итоге и оказался самым безопасным для русско-еврейских отношений: отказ от любви оказался и отказом от обиды, и если бы не стремление двух систем десятилетиями творить друг другу пакости, безвизовый режим в общении между Россией и Израилем мог бы осуществиться и полвека назад. Тот же третий путь стабилизировал бы и наши отношения с Западом — расширение общего бизнеса без имитации культурного единства.

Если каждая попытка дружить кончается дракой, лучше некоторое время не устраивать общих вечеринок. Ибо важнее избежать ненависти, чем обрести симпатию. Которая, кстати, на третьем пути достижима скорее, чем на любом другом. И уж, во всяком случае, третий путь безопаснее четвертого пути бессмертного Карандышева: «Так не доставайся же ты никому!»

Я заметил, что даже самые умные люди с почтением произносят слова: *геополитика, дипломатия канонерок…*

«Вы вторглись в сферу наших геополитических интересов — мы пошлем к вашим берегам эскадру, дабы напомнить, какими бывают последние аргументы в споре держав». — «Нет, это вы вторглись в сферу наших геополитических интересов со своими ржавыми посудинами, однако мы сумеем асимметричным, но оттого не менее выразительным образом напомнить вам, какими бывают последние аргументы в споре держав».

Особенно великих, которых некому принудить к миру. Ибо державы именно за то и удостаиваются звания великих, что они способны в одиночку причинить миру неприемлемый ущерб (сегодня речь идет о полной гибели всерьез).

И с точки зрения этого критерия, способности уничтожить человечество, Россия не более и не менее великая держава, чем Америка. Сколько бы ни потешаться, что вы-де приставили к нашему виску всего лишь заржавленную двустволку, а вот мы в ответ еще на сантиметр приблизим к вашей печени суперсовременный кольт, — все снижающие сравнения лишь уничтожают магию пышных слов. Какая, к черту, дипломатия канонерок, если последний аргумент приводит к гибели всех участников! Какая, к черту, геополитика с ее хваленой циничной рациональностью, если сегодня у великих держав не осталось ни малейших рациональных мотивов воевать друг с другом! Ибо, повторяю, уже давно покупать неизмеримо более выгодно, чем покорять. И даже такой убежденный силовик, как Гитлер, уже почел более выгодным покупать у Швеции необходимые минералы, нежели захватывать, — тем самым вовлекая налаженное производство в военную смуту, превращая его в мишень вражеских бомбардировок.

Сегодня, еще раз повторяю, единственной рациональной причиной противостояния сделалась борьба за безопасность — коя и превратилась в главный источник опасности. Ибо каждая сторона воображает, будто она станет жить спокойнее, наводя страх на противную ей сторону, — тогда как именно страх заставляет людей творить наиболее непоправимые безумства.

А ведь сегодня миру выпала еще невиданная в истории удача: сильные несопоставимо более рациональны, а потому и более миролюбивы, чем слабые — по крайней мере, наиболее необузданные реваншисты, мечтающие любой ценой отомстить за прошлые унижения, обретаются среди Давидов, а не среди Голиафов. И если бы воображающие себя прагматиками Голиафы

не натравливали друг на друга собственных «сукиных сынов», виртуозно использующих апломб и глупость своих патронов, то они без особенных жертв могли бы удержать всех сукиных сынов на коротком поводке.

Но какой же рациональный слизняк во всемирной коммунальной склоке, именуемой пышным словом *Геополитика,* станет руководствоваться низкой корыстью! Вы поставили кастрюлю на наш стол — мы ошпарим вашу кошку! Вы поигрываете ножичком — мы будем поигрывать гранатой!

Вот и Том Сойер, прежде чем начать драку с чванным чужаком, проводил по земле черту, обозначая зону своих геополитических интересов: попробуй-де перешагнуть! Мальчишки, равно как и державы, обычно доходят до мордобоя через череду взаимных тычков в плечо, каждый из которых должен быть сильнее предыдущего (в нашем случае последний толчок оказывается последним в истории). Взрослые в таких случаях учат: уступить должен тот, кто умнее, однако мальчишкам-то прекрасно известно, что уступивший останется навеки униженным не только в чужих, но и в собственных глазах. Это в вашем, взрослом мире людей уважают за отличную учебу и примерное поведение…

Но, антр ну и тет-а-тет, существует ли он в действительности, этот взрослый мир? Почтенный академик прогуливается с дамой, шпана сбивает с нее шляпку — он же как более умный подхватывает спутницу под ручку и торопливо семенит прочь. И что, наше уважение к нему и впрямь нисколько не поколеблется? И на его собственном образе себя и впрямь не останется ни малейшего пятнышка? Бывают ли люди настолько взрослые, что они и вправду гордятся исключительно своими профессиональными достижениями?

В фокус-группе моих друзей-«демократов» таких истинно взрослых людей практически не нашлось. Вернее, покуда им казалось, что неприязнь мира обращена исключительно на нашу правящую верхушку, они вполне могли даже и радоваться конфузам своей державы, исполняя интернациональный долг интеллигентного человека — радоваться каждому новому доказательству того, что правительство именно его державы есть самое глупое и низкое правительство всех времен и народов. Теперь же, когда российское правительство порождается народной массой с куда большей очевидностью, нежели правительство советское, у них зародилось страшное подозрение, что классическая формула «я люблю свой народ и ненавижу свое правительство» чем-то напоминает признание «я обожаю свою жену и ненавижу ее скелет». Хуже того — у них

зародилось еще более страшное подозрение, что такая прежде смехотворная фикция, как «честь державы», является частью их собственной чести. Что, согласившись видеть свою страну жалкой и презренной, они остаются без средств удовлетворения важнейшей экзистенциальной потребности — потребности идентифицироваться с чем-то бессмертным и почитаемым. Что можно сколько угодно уважать и даже любить другую страну, но ощутить себя ее частью — искренне ощутить! — удел редких одиночек.

И если в роковые минуты перед индивидом встает вопрос: жизнь или честь? — то у народов, у наций, как уже было сказано, такого выбора нет — для них честь и есть жизнь. Отказавшись от чести — понимаемой вполне мальчишески, — они уничтожат у наиболее гордой части населения важнейшие стимулы дорожить своим народом и приносить ему серьезные жертвы.

Вспомним еще раз, как более ста лет назад самые уязвленные в своем национальном достоинстве европейские (в том числе и российские) евреи избрали два пути выхода из унижения — путь напора: «Мы войдем в ваше общество на равных!» — и путь надменной самоизоляции: «Для себя мы достаточно хороши и ни в чьем признании не нуждаемся». Первая формула через череду погромов, через Освенцим и бесчисленные антисемитские кампании, кажется, во всех странах, где жили евреи, в конце концов обеспечила почти полное равенство потомкам уцелевших (Освенцим и оказался последним входным билетом в европейское общество). Вторая, формула Жаботинского, имела своим итогом государство Израиль. У которого уже ни к кому нет наиболее опасных иррациональных претензий — претензий, основанных на уязвленной гордости. На отказе считать его красивым.

Путь «ни на чем не основанной национальной спеси» оказался самым безопасным. А вот нас российская «спесь» только раздражает…

Битые и небитые

Еще одно наблюдение: в фокус-группе моих старых приятелей (все до единого, в десятый раз подчеркиваю, с безупречной демократической анкетой) лишь один нашел рациональные основания тому, что великие державы предпочитают обмениваться не услугами, а неприятностями и угрозами: все это-де подготовка к каким-то будущим переговорам. И чем в более неприятное положение до этого ты

сумеешь поставить соперника, тем уступчивее он сделается. Этот же приятель единственный осудил Россию за неадекватное — недостаточное! — применение силы после обстрела Цхинвала: надо было все раздолбать к черту, и наступил бы мир и покой. «На зоне бывают такие мужики — не так чтобы очень сильные, но очень решительные. И с ними все живут в мире. Потому что если их затронуть, никогда не знаешь, чем это кончится. И от этого всем спокойней, не надо вечно прощупывать, что можно и чего нельзя».

«Костя так и остался мальчишкой, — огорчился другой мой приятель. — Мы же идем не в зону, а в цивилизованный мир. Надо сделать так, чтобы нас уважали, а мы все хотим, чтобы нас боялись! Почему у Финляндии нет никакой этой милитаристской дури, никаких национальных идей, а ее все уважают?» Насчет мальчишества он был совершенно прав: в мальчишеской компании невозможно добиться уважения, не выказывая глупой, мальчишеской или какой там еще лихости. Если ты боишься пройтись по карнизу или позволяешь безнаказанно щелкнуть себя по носу — даже девочки такого тихоню уважать не будут. И те мальчишки, кто в силу душевной тонкости или физической хилости не смогли выдержать экзамен по дикарской храбрости, с огромным облегчением удаляются во взрослый мир, где эти устаревшие доблести уже не требуются.

Вот только существует ли тот мир, где совершенно не требуется умение внушать страх? По счастью, да. Но лишь под прикрытием какого-то другого мира, обладающего этим умением в самой убедительной степени. Филологу или математику может ни разу в жизни не потребоваться умение драться или стрелять. Но это лишь потому и до тех пор, пока это вместо него делает полиция, защищающая кроткого законопослушного интеллигента от бандитов, хулиганов и даже особо выдающихся хамов, только и ждущих, как бы тем или иным способом сесть на шею ближнего.

Зато уж сама полиция даже в наицивилизованнейших странах всегда готова к неадекватному применению силы и к нарушению закона во имя «пользы дела». И ничего другого быть не может. У людей, ежедневно сталкивающихся с самыми ужасными и мерзкими проявлениями человеческой природы, не может сохраниться тот же образ мира, а следовательно, то же представление об адекватности, что у мирного обывателя, для которого сильнее хама зверя нет. Даже во французских фильмах, не говоря уже об американских, полиция постоянно начинает допрос с затрещин. Время от времени такие случаи попадают в газеты, и очень хорошо, что попадают, и все-таки… Все-таки, если полиция сделается такой же мягкой и законопослушной, как те,

кого она защищает, то правовым нигилизмом, решительностью и устрашающим оскалом придется обзаводиться самим защищаемым. Но если полицейский обзаведется ценностями интеллигента, а интеллигент ценностями полицейского, ни от того, ни от другого не будет никакого проку. Ценности интеллигентов и «силовиков» всегда должны соперничать и никогда не побеждать друг друга.

Похоже, подобное разделение функций (а значит и ценностей) сложилось и на международной арене. Кучка стран-счастливчиков оказалась в некоем заповеднике, обретя возможность жить по сравнительно гуманным законам, и это огромная удача для всего мира — обретение реторты, в которой вырабатывается образ цивилизованного будущего, в том числе и для мира джунглей. Но обитатели заповедника должны понимать, что такое будущее для остального мира наступит отнюдь не завтра, если вообще когда-нибудь наступит. И если они заставят тех, кто охраняет границу меж диким лесом и их уютным уголком, жить по законам заповедника, то в скором времени они сами будут вынуждены вернуться к архаическим дикарским доблестям — или погибнуть.

Многим обитателям заповедника, правда, «пограничники» представляются едва ли не самой опасной частью дикого леса — по той же причине, по которой маменькин сынок больше всех ненавидит сначала бонну, затем полицейского… Просто он не видел никого страшнее. Но взрослые-то люди догадываются, какие чудовища поднимут головы, если убрать тех, кто внушает опасение в мирной жизни — одновременно помогая сохранить эту мирную жизнь. Уберешь самого сильного, заинтересованного в сохранении выгодного ему равновесия, — тут же начнется свалка между униженными и оскорбленными, мечтающими взять реванш за свои унижения. А потом придется убирать нового победителя…

Беда в том, что, не выдержав экзамен на мальчишескую храбрость, по-настоящему повзрослеть по-видимому невозможно — так и будешь вечно думать не о пользе дела, а о мести (хотя бы в социальных теориях) своим обидчикам и тем, кто на них похож (хотя бы силой и уверенностью в себе), звать на их головы какую-то карающую руку…

Вот Финляндия на пять с плюсом выдержала экзамен на архаические доблести — и после огромных для маленькой страны человеческих и территориальных потерь начала вести себя с исключительной мудростью: не раздражать могучего опасного соседа, но использовать его в своих целях (в отличие от некоторых других соседей по балтийскому побережью, кто, в

роковой миг сдавшись практически без боя, до сих пор швыряет гнилые помидоры вслед ушедшей армии). Россия сдавала экзамен на храбрость целые века, и ей тоже пора сделаться взрослой: не мстить и не угождать, а использовать.

Не ожидая мудрости, а тем более снисходительности ни от униженных, ни от небитых. Ибо жизнь в клетке, равно как и жизнь в заповеднике, легко порождает безответственность и слепоту. Одних о страшном опыте заставляет забыть обида — другие просто не догадываются, какой жесткости, а порой и жестокости требует вековая борьба за выживание. Каждый народ вырабатывает свой менталитет, свои представления об адекватности в ответ на свои собственные, а не чужие исторические испытания, и тем, кто действительно хочет видеть Россию мягкой, следует создать ей тепличные условия — тогда через пару десятилетий она тоже уподобится обитателям заповедника.

Только в интересах ли это других обитателей? Физически слабые страны выживают за счет равновесия между сильными, и не прекрасная Финляндия, но опасная Россия является одним из опорных столбов этого равновесия, той крыши, под которой расположились кроткие и законопослушные. Конечно, опорный столб не должен быть слишком нервным, не должен подпрыгивать от всякого укола. Но если он сделается мягким и осядет вся крыша? Достанет ли силы и решимости заменить его у тех, кто сегодня недоволен его чрезмерной жесткостью? Сделался ли мир безопаснее, когда годы покоя смягчили сердца советских людей, пробудив в них доверчивость и самокритичность?

Боюсь, Россия должна защищать и битых, и небитых от их же собственной недальновидности.

Шаг вперед — два шага назад

Мне позвонила вконец расстроенная однокурсница: оказывается, нас осудил за рост национализма не только республиканец Маккейн, но и демократ Обама (если вы еще помните эту предвыборную борьбу титанов). «С кем же мы останемся — с Никарагуа, с Буркина-Фасо?..» — «Как много! Я думал, все народы обречены на полное одиночество…» — «Ты же публицист, почему ты не борешься с национализмом?!.» — «Так его же борьба с ним и порождает!» — «Тебе бы все шутить…»

Но без шуток, ослабить национализм, равно как и любое другое социальное явление, можно единственным способом —

ослабляя вызывающие его причины. А рост национализма вызывается угрозой национальному достоинству — безразлично, реальной или мнимой, — в распоряжении человека нет иной картины мира, кроме воображаемой. И каждый народ, не боюсь повториться, создает собственную картину мира для утоления собственной, а не чужой гордости. «Я представляю собой огромную ценность» — вот та универсальная национальная идея, без которой ни один народ не может ни возникнуть, ни сохраниться в годы испытаний, та национальная идея, которая сначала породила, а затем и спасла мою любимую Финляндию, если судить в историческом масштабе, можно сказать, у всех на глазах.

Потому-то ни один народ и не может признать над собой чужого суда — суда одних иллюзий над другими. В какой-то трагический миг тот или иной народ, правда, бывает способен ненадолго впасть в скромность и даже минутное раскаяние, но встречная строгость или просто затянувшаяся пауза стремительно пробуждает оборонительную реакцию: «Вы-то сами чем лучше?» А поскольку высшей судебной инстанцией сегодня представляется некий Запад как единое целое, то раздражение обращается против него.

Мы вторглись в Чехословакию в 68-м, а вы ее предали в 38-м, мы наворотили дел в Афганистане, а вы во Вьетнаме, мы кого-то там якобы отравили в Лондоне, но это еще надо доказать, а вот ваши убийства в Ираке и доказывать не надо, может, мы слегка и переборщили в умиротворении Грузии, но вы-то Сербию мочили куда хладнокровнее и систематичнее, и у нас, по крайней мере, нет тайных тюрем на чужой территории… И так далее, и так далее. В любом деле возможна позиция адвоката и позиция прокурора, и если адвокат и прокурор сойдутся во мнениях, значит обоих нужно гнать из профессии. Поэтому я не собираюсь обсуждать, что в обвинениях наших западных воспитателей справедливо, а что нет, — если даже в этих обличениях все до последнего слова чистейшая правда, в России они могут произвести лишь обратный эффект.

Обида же на Запад порождает и недоверие к либеральным институтам: они представляются навязанными, а ничто навязанное не может быть принято, ибо народы создает и хранит, повторяю в десятый раз, не корысть, но гордость. И потому тем западным политикам, кто всерьез озабочен судьбой либерализма в России, а не своей репутацией неподкупного либерала и законника, следовало бы распекать Россию за чрезмерную щепетильность в соблюдении демократических норм и международного права — это было бы серьезным ударом по

авторитарности и правовому нигилизму.

А то даже моя упомянутая однокурсница, прежде уверявшая, что порядочные люди не должны замечать того, что бросается всем в глаза — национальных различий, — даже она начала различать хороший патриотизм и плохой национализм: патриотизм-де это любовь к своему народу, а национализм — ненависть к чужим. Ненависть порождается только любовью, возражал я, она всего лишь реакция на угрозу предмету любви, да и вообще — невозможно желать победы своей команде, не желая поражения чужой, есть даже такое авторитетное мнение, что различия между патриотизмом и национализмом чисто стилистические, как между лицом и рылом…

Но, вместе с тем, если люди пытаются разграничить в национализме добрые и злые начала — что-то же они имеют в виду? Понять-то всегда труднее, чем высмеять.

Вероятно, следует различать национализм созидательный и национализм социальный: первый стремится увеличить число реальных достижений своей страны, второй — добиться их признания на международной арене. Но даже и самый что ни на есть созидательный национализм нуждается в каком-то внешнем признании (тем более что без признания и достижения становятся затруднительными). И даже самый что ни на есть созидательный национализм невозможен без стремления гордиться достижениями своей страны. Ибо гордость за общее дело — важнейший стимул любой коллективной деятельности, материальные стимулы в таких случаях слишком уж мизерны: затраты целиком ложатся на тебя, а эффект делится на миллионы участников.

Но и гордость бывает наступательная и оборонительная. Наступательная требует признать, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех Дульсинея Тобосская. Оборонительная же отказывается выставлять свою возлюбленную на конкурс красоты в гордом убеждении, что, сколько бы ни было красавиц на свете, его Дульсинея ему все равно милее. Такой влюбленный умеет превратить в достоинство практически все: худа — так никого нет легче и стройней, толста — величие осанки видно в ней, будь хитрой — редкий ум, будь дурой — ангел кроткий…

Мы все любим лишь нами же идеализированные образы, а потому ничья идеализация не лучше моей, — эту логику оборонительной гордости сто лет назад принял светский сионизм. Она же более всего пришлась бы впору и сегодняшней России. Особо романтичные сионисты, правда, грезили об особом пути для будущего еврейского государства, который бы

объединял лучшие качества Запада и Востока (некое еврейское евразийство), однако тот же Жаботинский лишь издевался над идеей гармонического слияния демократии и деспотизма, динамизма и застоя. Уникальность будущего Израиля он видел не в особых социальных институтах, — они должны были быть полностью западными, — но в психологии: не искать любви, но использовать достижения. Этим «третьим путем», собственно, Израиль идет и до сих пор, как-то незаметно уже принятый в избранный круг «цивилизованных держав», но, похоже, этого почти не заметивший.

Путь сионизма… Чем-то в этом роде мне представляются и наиболее безопасная национальная гордость великороссов, и, одними вожделеемый, а другими осмеиваемый, третий путь России. Путь, пролегающий в пространстве психологии, а не в пространстве реальной политики, в пространстве слов, а не в пространстве дел.

Среди ее воспитателей, кто хотел бы видеть Россию скромной, есть и наивные доброжелатели, чисто по-христиански стремящиеся освободить ее от греха гордыни, но им так же по-христиански можно посоветовать самим прожить без гордости хотя бы неделю, всем уступая и ни на что не претендуя — лишившись гордости, мы бы отступали перед любой опасностью и скулили от малейшей царапины. Скромная Россия просто невозможна, она, как и любая другая скромная держава, рассыплется при первом серьезном испытании, ибо в глазах своих граждан не будет стоить того, чтобы ради нее чем-то жертвовать.

«А, может, оно и неплохо?» — обнадеженно вздохнет немало народу, усматривающего в России одну из главных угроз цивилизованному миру — не задумываясь о том, что ослабление ее национальных амбиций выпустит на волю такие новые амбиции, с которыми «цивилизованный мир» уже не совладает. Под нами кипит такой котел реваншизма униженных и оскорбленных…

Впрочем, это вариант чисто умозрительный. На деле каждый шажок к скромности Россия будет тут же компенсировать озлобленностью и трансформацией оборонительного национализма в национализм наступательный. В обозримом будущем Россия все равно не сделается настолько слабой, чтобы быть не в силах вовлечь мир в катастрофу. Она может стать разве что несколько более слабой и озлобленной или несколько более сильной и раздражающе самодовольной.

То есть благодушной и великодушной.

Только вот на пользу ли цивилизованному миру слишком уж мягкая Россия? Защитит ли его крыша, подпертая колонной из

пластилина?

Особые пути из-под особых крыш

Чтобы быть сильными, нужно быть гордыми, чтобы быть гордыми, нужно чувствовать себя уникальными. Однако наши либеральные гувернеры считают всякие разговоры об особом пути России первым шагом к изоляции и агрессивному национализму, если не к полному нацизму.

В пионерлагере это было тоже самое страшное обвинение: ты что, особенный?!. Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы несомненно ответила: конечно, особенный! Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто поумнее да покрасивее, чего они от нас и добивались. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: ты единственный, таких, как ты, больше нет, наша душа отвечает не всплеском скромности: ну что ты, таких, как я, тысячи, — нет, всплеском радости. Именно об этом она и грезила, не решаясь себе признаться.

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию да еще и выставляют не слишком высокую оценку, — тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и самое их шкалу: мы начинаем настаивать на своей особости, когда нам в ней отказывают. Но, поскольку глобализация все больше стран и народов выстраивает по единому ранжиру, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях особого пути — их расцвет есть реакция на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким вот образом эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» — только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ведется борьба, а наступательными те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить

торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу — попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему особому пути, однако никто даже не ставит вопрос, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

На мой взгляд, гораздо более целесообразно не бороться с неодолимым стремлением (готовность соответствовать каким-то стандартам может быть проявлена только теми, кто этим стандартам уже соответствует либо находится в двух шагах от этого), а использовать его в разумных целях. Преимущества и соблазны модернизации настолько наглядны и огромны, что декларируемые отказы от нее суть, как правило, декларации лисицы, отказывающейся от недоступного винограда. Идеологии особого пути на первых порах чаще всего возникают не как оправдание агрессии, а как прикрытие капитуляции, как утешение в неудачах. И человек, и народ, когда их настигает поражение, говорят себе: «А я и не хотел». И здесь не нужно выводить их на чистую воду, повторяя: «Нет, ты хотел, да только у тебя не вышло. Так что не важничай, а учись у более умных и умелых». Если даже это правда (а правдой это бывает разве лишь наполовину, ибо любой успех наполовину определяется удачей), все равно она будет воспринята как соль на раны и лишь удвоит и без того всегда присутствующую неприязнь проигравших к победителям.

Поэтому правительству, желающему осуществить ненасильственную модернизацию, разумнее отводить нарастающую агрессию временными уловками в том духе, что мы-де сами отказались от упущенного приза, потому что это несвоевременно, слишком дорого, противоречит нашим нравственным принципам, традициям и т. д., и т. д., и т. д.; но мы спокойно все получим, двигаясь собственным особым путем — в свое время, без надрывов, без утраты самобытности, — все эти припевы давно известны. Нужно только не попадать в сети собственной пропаганды, а собирать силы для новой попытки, которую тоже нужно изображать как собственный, никем не вынужденный и никому не подражающий путь развития.

Разумеется, это дело тонкое, утешения и стимулы правящие

должны дозировать очень осторожно и быть всегда готовыми что-то прибавить, а что-то убавить в зависимости от реакции управляемых — при неизбежно сохраняющемся риске внезапного выброса фундаментализма, агрессивной версии идеологии особого пути. Но полный отказ считаться с потребностью людей в мягком варианте такой идеологии обеспечивает ее жесткие выбросы со стопроцентной гарантией.

Однако, все может оказаться и сложнее, и гораздо проще. Поэтому предлагаю задуматься, может ли обладать какая-то идеология особого пути модернизационным потенциалом? И как она может быть сконструирована, если такой потенциал имеется?

* * *

Модернизация Кавказа — эта тема с большим увлечением обсуждалась на организованном Ингушским государственным университетом конференции, в которой, кроме кавказских историков и социологов, приняли участие представители давно прорубившего окно в Европу Петербурга и активно модернизирующегося Казахстана. И разговор не мог не зайти о раз за разом повторяющейся и все-таки каждый раз неожиданной истории: то один, то другой народ семимильными шагами нагоняет Европу — и ни с того ни с сего вдруг поворачивает обратно, к каким-то полузабытым, а то и вовсе выдуманным архаическим (если не варварским) обычаям, институтам, персонажам…

Когда девушки в секулярном Казахстане начинают носить мусульманские платки, а юноши в либеральном Петербурге майки с надписью «СССР», это можно принять за молодежный выпендреж; когда успешно модернизирующийся Иран взрывает исламская революция, это можно объяснить бедностью и малой образованностью; но вот когда в Российской империи на рубеже веков европейски образованные и индивидуально успешные представители народа, считающегося предельно рациональным, воспламеняются грезой о восстановлении собственного государства, утраченного двадцать веков назад — я имею в виду светский сионизм, отказавшийся даже и от языка идиш, на котором говорили миллионы, — тут поневоле задумаешься: а нет ли общей причины в этом регулярном возрождении архаики?

Есть. Народы лихорадочно хватаются за отмирающие элементы своих национальных культур, чувствуя, что вот-вот останутся без крыши над головой. Ибо национальная культура —

это система коллективных фантазий, заслоняющая от наших глаз унизительную жестокость жизни, подобно тому как крыша дома скрывает от наших глаз черную бездну космоса. Естественно, любой народ в такой ситуации будет держаться за каждую черепицу и каждый стальной лист с исчезающей крыши и станет, мягко говоря, относиться без симпатии к вольным или невольным разрушителям этой крыши — его экзистенциальной защиты.

Либеральные идеологи не раз дивились, почему народ не желает простить либеральным реформаторам таких лишений, которые можно считать разве что мелкими неприятностями в сравнении с теми страданиями, какие он претерпевал со стороны модернизаторов авторитарных, вроде Петра или Сталина. Кому, однако, прощается если не все, то очень многое. Ответ обычно дается самоутешительный: варвары, дикое скопище пьяниц, страна рабов, страна господ…

Однако, к счастью и к несчастью, никакие нации рабов невозможны. Люди всегда испытывают неприязнь к тем, кому вынуждены подчиняться не по своей воле, и всегда ощущают тайную или явную ненависть ко всякому, кто внушает им страх. Люди почитают и охотно повинуются тирану лишь до тех пор, пока видят в нем орудие своих целей. И если какой-то тиран — особенно если не за их счет, а тем более в прошлом — наворотил целую гору подвигов вперемешку с горой ужасов, потомки стараются закрывать глаза на ужасы, ибо воспоминания о подвигах предков укрепляют их экзистенциальную защиту — ослабляют ощущение собственной ничтожности, а именно оно есть главный губитель человеческого счастья.

Модернизаторы же, которые не ставят перед народом великих целей, не поддерживают в нем абсолютно необходимое каждому народу ощущение собственной исключительности и красоты, но всего лишь предлагают ему уподобиться некоей норме, сделаться в лучшем случае двенадцатым в дюжине, — они экзистенциальную защиту разрушают. Ибо представление о собственной дюжинности разрушительно как для личности, так и, в неизмеримо большей степени, для народа. За какие же коврижки народ станет прощать хоть малейшие неудобства планировщикам, которые, перестраивая дом, оставят хозяев без крыши над головой? Пускай страдания не столь уж невыносимы, но зато они вовсе не имеют высокого оправдания. Лишения, вызываемые либеральными преобразованиями, могут быть оправданы только в том случае, если они будут сопровождаться укреплением национальной экзистенциальной крыши.

Один из наиболее эффективных способов ее ремонта — терапия успехами. Хотя бы небольшими. Хотя бы воображаемыми.

Хотя бы не собственными, а успехами тех, с кем униженный и оскорбленный эмоционально себя отождествляет — вплоть до любимой футбольной команды. Или, тем более, успехами его страны, эмоциональное слияние с которой являет собою главный слой его экзистенциальной защиты. Именно в кризисные эпохи необходимо сосредоточивать силы на пускай штучных, но выдающихся достижениях, на всякого рода рекордах — в науке, в искусстве, в технике, в спорте…

Однако такие рекорды не всем по плечу, а главное, их может оказаться недостаточно, если традиционные ценности очень уж далеко отстоят от ценностей модернизируемого общества. Особенно трудно приходится тем народам, чья историческая судьба была веками связана с войной: ценности воина, требующие презирать смерть и уют, почти несовместимы с ценностями устроителя, требующими гуманности, умеренности и аккуратности. Если вчера считались высшей доблестью храбрость и щедрость, как шагнуть в новый мир, культивирующий трудовую дисциплину и бережливость? Лидеры модернизации, обладающие этими буржуазными добродетелями, будут отвергаемы традиционным миром: дисциплинированный работник будет окрещен подхалимом, бережливый хозяин скупердяем, предприимчивый бизнесмен проходимцем.

И здесь, в переходный период на помощь может прийти *аристократическая модернизация.* А именно: «передовой», наиболее модернизированный слой не только не утрачивает классических доблестей, в сущности не так уж необходимых или даже вредных для «новой жизни», но, напротив, концентрирует их в себе с особой силой, подобно тому как европейски образованная аристократия пушкинской поры с особой остротой культивировала физическую храбрость и готовность драться на дуэли из-за пустяковых на наш взгляд поводов. Люди, закладывавшие основы России как великой литературной державы, считали делом чести не уступать каким-нибудь гусарам даже и в бретерстве, казалось бы, совершенно излишнем для литературного труда. Два величайших поэта, Пушкин и Лермонтов, отдали жизнь в схватке с ничтожествами, Толстой был в шаге от дуэли с Тургеневым, крупный чиновник Грибоедов стрелялся с прославленным уж никак не литературными или дипломатическими подвигами Якубовичем…

Разумеется, в какой-то степени это было вынужденным, но вынужденным чем? Все тем же культом храбрости! Пушкин после встречи с гробом Грибоедова вспоминал о недооцененности его

поэтического таланта, его государственных дарований и, самое обидное, даже его холодная и блестящая храбрость была в подозрении — все в одном ряду! (Нам, рассуждая о непризнанности Платонова или Булгакова, и в голову не придет размышлять, как бы они вели себя под пулями.)

Кого в Европе можно поставить рядом с этими русскими европейцами? Зачем им было нужно это мальчишество? Этим мальчишеством они защищали собственную экзистенциальную крышу, красоту собственного облика в соответствии с умирающими критериями. Утрированный культ Марса, Вакха и Венеры крышевал их измену заветам отцов. А вот их детям, родившимся уже под новой крышей, эта гиперболизация уходящих представлений о достоинстве более не требовалось — отсюда и сетование старых гусар на то, что молодежь измельчала: «Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова». Этот конфликт отцов и детей отражен и в толстовских «Двух гусарах».

Но при этом не надо забывать, что после наполеоновских войн русское офицерство было охвачено сильнейшим порывом к просвещению: все общества, в которых обсуждались проблемы модернизации, трудно даже перечислить.

Я думаю, Кавказу тоже пришлась бы впору аристократическая модернизация. Если модернизирующий слой станет культивировать в себе классические кавказские доблести (двигаясь при этом вперед, а не назад), это психологически защитит и самих модернизаторов и, что еще важнее, сделает их личности, а значит и их миссию привлекательной для масс. Разумеется, я не имею в виду чего-нибудь вроде возрождения набеговой системы — это был бы отказ от модернизации, — я говорю о ее психологическом, экзистенциальном прикрытии. И эта временная крыша растворится сама собой, когда новая жизнь отыщет собственные способы видеть себя красивой и значительной. Тогда-то, сделавшись окончательно ненужной, улетучится и повышенная щепетильность в вопросах чести, склонность хвататься за кинжал, как у русского дворянства отмерла склонность по любому поводу хвататься за пистолет — когда дуэль перестала служить экзистенциальной защитой.

Чтобы приблизить эту пору, российское государство должно не забывать, что модернизация никогда не принимается из рук чужаков. И что героев рождает война, а беззаботность — консьюмеристов. Если государство сумеет обеспечить Кавказу и кавказцам такой уровень безопасности, при котором физическая храбрость превратится в романтическое излишество, это сделается наилучшей предпосылкой для успеха аристократической модернизации Кавказа.

Итак, особых путей модернизации должно быть, минимум, столько, сколько имеется систем экзистенциальной защиты (общая система экзистенциальной защиты, признание совместной избранности и объединяет культуры в цивилизации). Ибо у каждого народа есть собственная романтизированная история, собственные культурные образцы — собственные герои и святые, предания о которых чаще всего просто несовместимы с современными представлениями о гуманности и рациональности. Для того чтобы примирить эти непримиримости, требуется прежде всего время и новые предания о новых героях и святых. И какой же должна быть экзистенциальная крыша для самой России? Ее базовая формула, мне кажется, может звучать примерно так: мы творим историю. Вместе с другими великими державами.

Здесь несомненно открывается масса роскошных возможностей осмеять желание народа не выходить из-под привычной крыши хотя бы одним прыжком: да разве-де у великой державы бывают такие сортиры, такие пенсии, такая коррупция — перечень наших слабостей и пороков можно длить бесконечно. И я даже не собираюсь возражать, что признаком великодержавности являются не пенсии и не сортиры, а возможность оказывать существенное влияние на ход исторических событий — неизмеримо важнее то, что попытки лишить народ экзистенциальной защиты хотя бы и путем ее осмеяния вызовут (и уже вызывают) такую ненависть к обновлениям, что это может отбросить страну с особого пути модернизации к стандартному пути архаизации.

Есть еще одно попугайское клише, избавляющее от необходимости вдумываться и понимать побудительные мотивы своего народа: имперский синдром (постимперский синдром). Однако гордая риторика при умеренной политике — это отнюдь не скрытая агрессия и мечта о реконкисте, но всего лишь попытка людей хоть как-то сохранить остатки привычного собственного образа, покуда их дети обживутся в более тесном новом доме и возведут на нем новую крышу воодушевляющих и утешительных иллюзий и грез.

Бороться с экзистенциальной ущемленностью презрением означает заливать угасающие угли бензином. Рационально настроенные наблюдатели месяцами дивились тому, что череда ближневосточных революций так и не выдвинула никакой позитивной программы. Хотя месть — ничуть не менее позитивная программа, чем всякая другая. Если не более. Сжечь дом обидчика — эта акция может очень даже возвысить поджигателя в собственных глазах.

Подарить ему выстраданную возможность ощутить себя красивым и значительным. А это главное за что мы боремся на этой крошечной земле под бескрайними пустыми небесами.

И так не хотелось бы, чтобы и Россия начала поиски значительности в мести, а не в созидании.

А между тем, в одном очень важном отношении она чуть ли не два века действительно шла особым путем, достигнув совершенно потрясающих результатов благодаря тому, что творческое меньшинство в ней оказывалось освобожденным и от серпа, и от молота, и от безмена — и от труда, и от торговли. Этим творческим меньшинством оказывалось то дворянство, то научная интеллигенция, но результат каждый раз оказывался то великим, то просто великолепным.

Уже давно сделалась пошлостью констатация той очевидности, что в России всегда жестко, а то и до нелепости жестоко подавлялась политическая свобода. Однако очень редко или даже никогда не обращают внимания на то, что в России постоянно возникали *свободные зоны.* Зоны, свободные от корысти и заботы о бренном. Зоны, почти невозможные в более демократических странах, где требуется не только трудиться, но и обращать в товар продукты своего труда: недаром гениальнейший из смертных не желал зависеть ни от царя, ни от народа. Хрен редьки не слаще — Пушкин хотел служить лишь своей поэтической прихоти.

На таких-то островках свободы (праздность вольная — подруга размышленья) и рождалась величайшая литература, великая музыка, великолепная наука, позволявшая ученым утолять собственное любопытство за государственный счет. И как раз эти-то островки постаралась уничтожить революция лакеев и лавочников под знаменем рационалистического либерализма. Против которого давно пора возвысить знамя либерализма романтического, отстаивающего для творческой личности принцип «не продается вдохновенье». А служит красоте и величию человеческого образа. Творит бессмертные дела.

Гарантии свободы для служения не бренному, но бессмертному, идеология романтического либерализма хотя бы для узкого круга — это и есть особый путь России.

А аристократические обитатели этих свободных зон и творят подвиги, становящиеся предметом национальной гордости, и сами служат источником соблазна для творческих меньшинств входящих в Россию и окружающих ее этносов. Из двух главных орудий межнациональной конкуренции — угроза и соблазн — второе приносит многократно менее кровавые и более прочные победы. Но, чтобы соблазнять, надо быть красивыми. Разве гордая

горская знать согласилась бы сделаться частью имперской аристократии, если бы ее ядро — русская аристократия — было менее блистательным?

Если бы Россия, как это было когда-то, слыла страной, живущей не очень богато и даже не слишком чисто, но регулярно порождающей людей, способных поражать воображение, она привлекла бы к себе сердца всех, кто ощущает в себе нереализованные дарования, чарующей молвой: *«В России умеют ценить таланты»*.

Этот итог я, пожалуй, и назвал бы нашей сегодняшней национальной идеей.

Способной не только воодушевлять нас самих, но и привлекать к нам чужие сердца. Разумеется, аристократии духа тоже необходима красивая родословная, и вроде бы именно для этого и создана комиссия по противодействию фальсификации истории — чтобы бороться с попытками принизить образ России. Но стремление каждого народа иметь возвышенный образ самого себя настолько огромно, что попытка любой комиссии ограждать его репутацию напоминает попытку воробья опекать орла. Если мы начнем изо дня в день оплевывать все национальные святыни, этим мы только вырастим гиперромантическое движение, которое вообще объявит историю России абсолютно безупречной и неприкосновенной. Радикальный национализм в основном и порождается попытками преодолеть национализм нормальный, подобно тому как организм реагирует повышенной температурой на внедрение инородного тела. И вот эта реакция на попытки — безразлично, «объективные» или «необъективные» — принизить образ России в глазах ее населения гораздо опаснее, чем то потенциальное снижение ее репутации, для борьбы с которым и создается комиссия.

Хотя репутация каждого народа столь важный социальный капитал в международной конкуренции, что непрестанная борьба за увеличение собственного капитала и уменьшение чужого абсолютно неизбежна. И если внутри России в защите ее образа от принижения не заинтересованы лишь очень немногие, именно на этом принижении и построившие свою защиту от ужаса собственной ничтожности, то вовне ее тоже лишь очень немногие не пожелают приподнять свою самооценку за счет страны, которая столько десятилетий внушала страх (да и кто ее знает, на что она способна в будущем). Вот эти-то психологические интересы и определяют все: есть потребность очернять — будут подтасовывать факты в пользу очернения, будет потребность обелять — будут подтасовывать в пользу отбеливания. Объективности не существует, всякое мышление

есть подтасовка.

Но чужими репутациями озабочены больше не брокеры и не докеры, а интеллектуалы. И они всегда будут подтасовывать в пользу той картины мира, которая обеспечит им ощущение собственной избранности. Голод в Руанде или свобода слова в России волнуют их лишь в той степени, в какой борьба с ними увеличивает их собственный психологический комфорт. А если самые ужасающие нарушения прав человека станут приходить в противоречие с какой-то их утешительной сказкой, они закроют на них глаза или найдут тысячи виртуозных оправданий. Мы же помним, как все эти нобелевские лауреаты, Ромены Ролланы и Бернарды Шоу, воспевали сталинскую Россию, а Шоу, покидая голодающую страну, похвастался, что писал правду о Советском Союзе, даже еще и не побывав там: ему и видеть было не нужно, чтобы знать правду.

Умнейшие мужи Европы предпочитали держать свой скепсис в намордник, если он угрожал их любимой цацке — я хочу сказать: сказке — социализму, даривше му им экзистенциальную защиту. В этом и заключается мой рецепт: будет Россия дарить интеллектуалам светлую сказку об их избранности — они будут нас высветлять, невзирая ни на что, потому что им есть дело только до самих себя. Не будет сказки — не поможет никакая пропаганда: не чиновникам тягаться в софистике с лучшими умами просвещенного мира.

И какой же сказкой сегодняшняя Россия может очаровать эти лучшие умы? Наши обличители в воспитательных целях любят сопоставлять российский ВВП с какими-нибудь африканскими странами, дабы мы не слишком задирали нос (без чего ни один народ выжить не может), но трудно не видеть, что не в ВВП счастье. Никто не уважает Италию за ее средней руки достаток — ее чтут за Леонардо, Микеланджело, Ферми. А мы уже век проедаем авторитет Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, Менделеева…

Забыв при этом массу красивейших судеб двадцатого века. Для того чтобы создать красивую национальную родословную, нашему государству, благодарение небесам, вовсе не требуется прибегать к фальсификации. Нужно всего лишь регулярно проводить инвентаризацию и обновление своей сокровищницы.

Ее блеск способен очаровать и тех, кого принудить невозможно.